



Олег ДИВОВ

**Герои. Другая
реальность (сборник)**

«Точинов Виктор»

Дивов О. И.

Герои. Другая реальность (сборник) / О. И. Дивов — «Точинов Виктор»,

«Золушка» в исторических реалиях 1786 года – во Франции назревает революция, но дочь лесничего очень хочет выйти замуж за принца де Рогана. Питер Блад, пиратствующий на Волге. Александр Сергеевич Пушкин, живущий в XXI веке, публикующийся в Интернете и в роли гостя участвующий в передаче Тины Канделаки... Все это – альтернативная классика, литературные вариации на тему произведений, знакомых с детства. Любимое развлечение писателя – размышлять о том, как развивался бы сюжет классических произведений, если бы принц Гамлет вовремя принял противоядие, а у Боромира в записнике оказался тяжелый пулемет? На страницах антологии, представленной на суд читателя, в эту увлекательную игру играют Олег Дивов, Далия Трускиновская, Наталья Резанова, Виктор Точинов и другие отечественные мастера фантастики.

© Дивов О. И.

© Точинов Виктор

Содержание

Русские разборки или игра в бисер?..	5
Часть первая	7
Мария Галина	7
Тимофей Алёшкин	36
Введение	36
Политическая ситуация	36
Стратегическое положение и оперативные планы	37
Сражение. Общие замечания	38
Ход сражения	40
Итоги сражения	43
Артем Царёв	44
ПРОЛОГ, в котором вопреки обыкновению описаны события, воследовавшие спустя несколько лет после эпилога	44
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой выясняется, что чистая и светлая любовь подстерегает свои жертвы в самых глухих провинциальных закоулках, а граф д'Антраг отправляется в путешествие	45
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой путешествие графа д'Антраг завершается, а так же идет разговор о предметах и событиях совершенно мистических	51
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой материализм и просвещение одерживают самую решительную победу над фанатизмом, мракобесием и суевериями	55
ЭПИЛОГ, в котором объясняются некоторые события, описанные в прологе, а некоторые навсегда остаются загадкой	57
Часть вторая	59
Олег Дивов	59
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Герои. Другая реальность (сборник альтернативной классики)

Русские разборки или игра в бисер?.. (Альтернативная классика как знамение времени)

*В действительности все совсем не так, как на самом деле.
Станислав Ежи Лец.*

90-годы XX века в беллетристике прошли под знаком «сиквелов» классической литературы. Но это давно пройденный этап. В наше время можно сказать, что в свои права вступает новый поджанр литературы, который по аналогии с «альтернативной историей» можно назвать «альтернативной классикой». Есть ли это влияние эстетики постмодернизма, кризиса оригинальных сюжетов, или стремления самоутвердиться за счет классиков, или всего вместе взятого, – значения не имеет.

Содержание всех произведений, созданных в этом жанре, легко определяется фразой «не так это было, совсем не так». Ну вот, к примеру, д.Артаньян поступил не в мушкетеры, а в гвардейцы кардинала, а доктор Ватсон был на самом деле королем лондонской преступности, или еще того похуже – Джеком-Потрошителем.

А-а-а! – скажет нынешний умудренный жизнью читатель. Как же, как же, знаем-знаем! Фанфики. И будет прав, и не прав.

Потому что тысячи текстов, в которых фэны разных стран излагают свои версии «Властелина Колец» и «Гарри Поттера», – таки да, считаются фанфиками. Но назвать так «Последнего кольценосца» Кирилла Еськова или «Этюд в изумрудных тонах» Нила Геймана (про Шерлока Холмса в мире победившего Ктулху), как-то язык не поворачивается. И почему-то никто не именуется фанфиками произведения Бориса Акунина, увлеченно отплясывающего на сюжетах классической литературы. Скажу страшную вещь: задолго до акунинской «Чайки» альтернативную версию этой же чеховской пьесы – «Почему застрелился Константин» – написал классик драматургии XX века Эдвард Олби, и ничего. Или вот другой живой классик – Джон Апдайк, не поленился написать альтернативную версию «Гамлета» – роман «Гертруда и Клавдий». Тоже про то, что все было совсем не так.

Стало быть, все упирается в авторское мастерство да в репутацию.

И все же, что питает «альтернативную классику»? Прежде всего, тексты, в силу давности приобретшие статус классических, и в то же время пользующиеся массовой популярностью, хотя бы в отношении сюжета. Такие, как произведения Дюма-пера и Конан Дойла, стоящие где-то на полпути между развлекательной литературой и своего рода мифологией. Разумеется, Толкин. А из тех, кого отнесут не к «малым», а к «великим» классикам – никак не обойтись без Вильяма нашего Шекспира.

Но авторы данного сборника – а среди них есть и авторы весьма маститые, имеющие за душой десятки книг и разнообразные литературные примии, причем не только фантастические, но из разряда «Боллитры», и дебютанты, вариациями на темы названных авторов не ограничались, не остались необиженными и Толстой с Достоевским, и «наше все», и Марк Твен с Дефо, да и «Божественной комедия» с «Илиадой» тоже не забыты. Но если альтернативные версии классических книг практически одновременно написали столько разных авторов, игнорировать это явление нельзя. Здесь, правда, представлены только авторы русскоязычные (хотя и проживающие на широтах от Балтийского моря до Средиземного), но я вас уверяю:

на Диком Западе уже вышли и альтернативные версии и «Доктора Живаго», и «Лолиты», и «Джейн Эйр»», а вариациям на темы Конан Дойла и счету нет.

Можно, конечно, рассматривать это как филологические игры. Раскрывание шкатулок с секретом. Очень показательный пример «Графиня Монте-Кристо» Далии Трускиновской. Нам вроде бы показывают, как было на самом деле по сравнению с романом Дюма, но «реальный мир» в этой повести – это мир «Человеческой комедии» Бальзака, в который, как в матрешку помещен мир Дюма. В «Ночи накануне юбилея Санкт-Петербурга» Виктора Точинова на марктовеновском Юге появляются персонажи «Унесенных ветром», и все это крепко приправлено вуду. А промелькнувший на задворках рассказа Натальи Резановой «He is gone» краковский профессор Сабелликус был вполне историческим персонажем, и звался по жизни Иоганн Сабелликус Фауст. Впрочем, этот Фауст не одинок, Василий Мидянин тоже потревожил дух профессора, – впрочем, в его рассказе за все в России, как и положено, отвечает Пушкин.

А можно воспринимать «альтернативную классику» как выражение несогласия с трактовкой, предложенной авторами, и своего рода восстановление «исторической справедливости» – как в повести Марии Галиной «История второго брата» или рассказе Олега Дивова «Мы идем на Кюрасао».

И все же логичнее отнести все эти тексты к фантастике, более того, к фантастике научной. История литературы, на которой они базируются – она история, а история – наука. А кто не верит, что мир есть текст, может предложить альтернативную версию.

В. Черных

Часть первая ЭТИ СТАРЫЕ, СТАРЫЕ СКАЗКИ

Мария Галина История второго брата

Моего старшего брата зовут Жак. Младшего – Жан. А меня – Рене.
Смешно, правда?

Когда старик умер, Жак по завещанию получил мельницу. А Жан – кота. В общем-то, по заслугам. Старик знал, что делал, когда раздавал имущество, нажитое горбом... Жан, младшенький, из тех раздолбаев, которые либо умирают в канаве, либо женятся на принцессах. С равной вероятностью. Уже после похорон пришел ко мне, говорит: дай, мол, денег на сапоги коту. Ну, зачем, дурень, говорю, куроцапу твоему сапоги? Как он по деревьям будет лазать, как мышей ловить? В сапогах-то. А просит, говорит.

То есть, кот просит. И говорит. Говорящий кот попался. Так Жан утверждает, по крайней мере. При мне кот только мяукал. Причем препротивно.

Наверное, Жан решил помянуть старика в ближайшем кабаке, вот и все. Ну, я что, жмот? Дал ему пару су. Больше-то у меня ничего и не было. Только Салли.

Вы не подумайте чего, Салли – это ослик. Мой ослик.

Жак, старший, как я уже сказал, получил мельницу. Ему принцесса не нужна, – где вы видели принцессу, которая согласилась бы на мельнице ишачить? У старого Пьера по соседству дочка на выданье, крепкая девка, Жаку в самый раз.

Кстати, насчет ишачить...

Он все подкатывался ко мне – живи сколько хошь, но отдай Салли. Она тебе ни к чему. Пускай вертит мельничный жернов.

Я отказался. Жак кого хочешь заедит. Я Салли помню, еще когда она маленьким таким осликом была. Ушки бархатные, хвостик кисточкой... Копытца такие, знаете, – стук-постук.

Тогда, говорит, выметайся. Вместе с Салли. И скажи спасибо, что Салли все-таки ослица, а не кот. Говорящий.

То есть, намекнул на то, что Жану, младшенькому, еще хуже. Но Жан, как я уже говорил, из везунчиков.

Не то, что я. Я средний.

Во всем.

Думаете, легко быть средним братом?

* * *

– Если бы ты умела говорить, – я слегка хлопнул Салли по холке, – если бы ты умела говорить! Ты же не кот какой-то! Ты же умное животное! Осел, почти лошадь!

Салли равнодушно повела бархатным ушком.

Перед нами уходила вдаль пыльная горячая дорога. Мимо масляных кустов, мимо стогов сена, мимо тополей, лениво кланявшихся нам. «Топ-топ-топ...» – выбивают в белой пыли копытца, солнце припекает...

Я высматривал чучело, чтобы снять с него шляпу. Не для себя, для Салли. Чучело обойдется, а Салли жалко. Живое божье создание.

На самом деле осел – почтенное животное.

На осле Господь наш въехал в белый город Иерусалим, и Валаамова ослица была поумней своего всадника. И, кстати, умела говорить.

А Салли... Эх!

Золотятся поля на солнце, пылит дорога...

Чучело стоит средь поля, рукавами машет.

Шляпа на нем соломенная, даже отсюда вижу, хорошая шляпа – как раз для моей Салли.

Свернул я с белой дороги, оставил Салли щипать сухую травку у обочины, а сам углубился в поле. Там, в поле мелькают согнутые спины, сверкают как молнии серпы в руках, белые рубахи темны от пота...

– Бог в помощь, люди добрые!

– И тебе, – говорят, – странничек.

– Чьи будете?

Переглянулись они, помолчали.

– Маркиза Карабаса, – говорит один как-то неуверенно, – ступай, ступай отсюда, добрый человек, твой осел нам всю рожь вытопчет.

Смотрю, Салли надоело пастись у дороги, и она направилась ко мне прямо через поле.

– Салли-то? – говорю. – Да она легче пушинки ступает. А замок вон тот чей?

Далеко, за полем, за лесом высится замок, темный, будто грозовая туча.

– А тоже маркиза Карабаса, – говорят.

– А мне сдается, – отвечаю, – что это замок людоеда. Потому как знаю, что в этих краях отродясь людоеды замок держали. А вы, люди добрые, врете все, путников заманиваете. Своих-то он не ест, людоед-то ваш, только пришлых.

– Иди, – говорят, – отсюда, странничек, а то как навалием! И скотину свою заberi, от греха подальше.

Ну мы и пошли с Салли. Мимоходом стащил я шляпу с чучела, нахлобучил Салли на голову, а в прорехи ушки вытащил, чтобы не мешали.

– Эй! Эй! – кричат, да мы уж далеко.

А надо сказать, земли у нас только с виду мирные. Замок что грибов, и в каждом кто-то сидит. Где людоед, где великан, где колдун, где все вместе взятые сразу. В лесах полным-полно всякой нечисти, вилии, русалки, маленький народец. И опять же, людоеды да колдуны. Или просто разбойники. Как раз мы Салли мимо рощицы проходили, я дубинку себе выломал покрепче...

На самом деле в пути очень одиноко.

Несколько раз нас обогнали горячие всадники на горячих конях. Кони гнедые, шкура блестит, проскачет такой по дороге, только пыль оседает, а его уж и не видать. Несколько раз обгоняли господ в каретах. И телеги, ежели честно, тоже обгоняли.

Чего уж там!

Ф-рр! – карета пронеслась, с нас с Салли ветром аж чуть шляпы не посдувало. Пара лошадей черных, лоснящихся, кучер на запятках важный такой. А сама карета, только я и успел заметить, золотом отделана и вся в гербах. Только я успел ее взглядом проводить, смотрю, кучер поводья натянул, остановилась карета. Только пыль под колесами змеится. Кружевная занавеска чуть отодвигается, и блестит из-за нее чей-то черный глаз.

Потом дверца приоткрылась и на ступеньку выпорхнул башмачок; пряжка-бабочка. И белая ручка подол платья бархатного приподнимает, чтобы удобней было спускаться, значит. Так что я вижу, башмачок этот сидит на маленькой белой ножке в кружевном чулке.

– Что же ты, мужлан, – говорит чей-то нежный голос, – помоги мне спуститься!

Я с Салли спрыгнул, подскочил, локоть ей подставил, – она оперлась своей крохотной ручкой, пальцы у нее маленькие, розовые, точно виноградинки, но цепкие. Спустилась. Стоит, меня разглядывает.

– Ты чей будешь, мужик?

– Ничей, сударыня, – говорю, – сам по себе.

– А я думала, – говорит она несколько разочарованно, – что ты мой лесничий. Потому как еду я осматривать свои владения.

– Ты, дурак, голову-то наклони, – советует кучер, – это новая хозяйка твоя, господину нашему молодая жена.

Я поклонился пониже, однако говорю, – Ты уж прости меня, сударыня, дурака, только твой господин мне не господин. Не местные мы с Салли. Странствую я, удачи ищу.

– Как знать, – говорит она, а сама глазами блестит, – может, твоя удача рядом ходит. Хочу я на волшебный источник посмотреть, говорят, он тут где-то в лесу бьет прямо из земли, и цветы вокруг него с мельничные колеса... Проводишь к источнику, получишь золотой.

– Ничего я про сие чудо не слыхал, госпожа моя, – говорю, – правда, родом я не из этих мест.

– А если омыться в источнике том, – продолжает она, – или хотя бы лицо умыть, то удача от тебя никогда не отступится и во всех твоих делах и начинаниях будет тебе успех. И вообще, – говорит, – умыться тебе не помешает.

– Полагаю, ты права, сударыня, – согласился я, – да и Салли, наверное, хочет пить. С утра идем, по холодку вышли, а сейчас ведь самое пекло.

Она как-то поморщилась, когда я сказал про Салли, но ничего не сказала, а только позволила кучеру накинуть себе на плечи плащ, и юркнула в придорожные заросли, что твоя ящерица. Мы с Салли за ней; правда, помедленней, потому что Салли моя по бурелому ходить непривычна.

Деревья вокруг будто колонны, мох, точно бархат, папоротник колышется, птица поет, лучи отвесно падают, словно на пути их встречает не листва, а цветные стеклышки в нашей церкви. Храм, а не лес.

До чего, говорю, красиво!

Она только обернулась, усмехнулась. Белыми зубами сверкнула...

Смотрю, а мы на поляну вышли, а там и впрямь источник, меж двумя камнями журчит, вокруг березки белые, точно свечки, а она уже поставила корзинку, накрытую салфеткой, плащ с себя скинула и на траву расстилает.

– Иди сюда, мужик.

– Ты что же, сударыня? – говорю, – негоже это.

Она усмехается.

– Да ты, никак, дурень, – говорит. – Когда это мужчине с женщиной было негоже?

– Ты, сударыня, высокого роду, я низкого... Наверное, маркиза или баронесса...

– Когда лежишь, – отвечает, – все одинаковы. Но да, ты угадал, я маркиза.

– Карабас? – спрашиваю.

– Первый раз слышу про такого.

– Где-то там он живет, – я махнул рукой в сторону полей, – в замке, темном, как грозовая туча.

– Нет, – отвечает, – я живу вон там, – и рукой в другую сторону показывает, – в замке белом и высоком, муж мой, славный рыцарь, все время в разъездах, вот я и на хозяйстве, осматриваю принадлежащие мне владения. А в том замке, что ты говоришь, у нас людоед живет. Это все знают.

– Что ж твой супруг, коли он рыцарь, не побился с людоедом?

– С соседом? – подняла она брови, – зачем? У них был один спор межевой, так они миром уладили.

Салли тем временем сунула свою бархатную мордочку в источник, фыркнула, напилась воды и стала щипать травку. А маркиза молодая легла на плащ, кудри эдак разбросала, на меня поглядывает. А мне не по себе что-то, слышал я вот так можно и на вилию нарваться, и на кого еще похуже... Мало ли кто на дорогах нынче встречается? Отведут глаза, да и отравят душу на всю жизнь.

Откашлялся я, спрашиваю:

– Ты часом не вилия, госпожа моя?

– Проверь, – говорит.

Ну, думаю, не проверю, так ведь всю жизнь буду жалеть – дурак, дурак, такой случай упустил, одно слово – средний брат, не узнал, как оно там у маркиз устроено, может не как у наших девок?

Принялся я проверять, и дальше уж не до разговоров стало. Хотя, между нами, особой разницы и нет.

Только вот что-то в бок меня кололо, неудобно так.

– Что там у тебя, сударыня? – спрашиваю, когда отдышался.

Она отцепляет от пояса огромную связку ключей и трясет у меня перед носом.

– Господин мой и супруг, – говорит важно, – отправляясь в странствие, доверил мне ключи от всех своих владений. И теперь я полноправная хозяйка и гардероба, и кладовых, и оружейных, и....

Между бровями ее стала маленькая морщинка.

– Один вот только ключик не велел трогать. Вот этот, – говорит. И тычет мне в лицо маленький такой ключик, а тот на солнце сверкает, лучики бросает, точно серебро... впрочем, наверняка оно и есть серебро, светлое, ясное, будто только что начищенное.

Лучше бы он тебе ключиком известное место запер, думаю. Слышал я, есть сеньоры, которые делают такое, когда уезжают в дальние края... А вслух говорю:

– Доверяет тебе господин твой...

– Да, – важно кивает она, – во всем доверяет, вот ключи от кладовых, заходи хоть сейчас, и на каретный двор, и в амбар, и в оружейную, и...

Помрачнела.

– Только вот этот маленький... от чего он?

– Да ладно тебе, сударыня, – говорю, – чего зря голову ломать? Давай лучше посмотрим, что у тебя в корзинке?

А в корзинке у нее пулярка и хлеб, белый как облако, и зелень...

– Пойду, – говорю, – и правда умоюсь и воды из родника попью...

– Умыться тебе, как я уже сказала, не мешает, – отвечает, – а воды зачем? Вот у меня вино есть наших виноградников, с западного склона, хорошее вино... С восточного склона похуже будет, а это отменного качества вино, и если его распробовать, то на языке будет такой почти незаметный привкус, знаешь...

– Батюшка твой, сударыня, часом не винодел был?

– Ну... – опять морщинка у нее меж бровей появилась, – владел папа виноградниками. Знал в этом толк. Ну, продавал иногда на сторону... Но это еще не значит, что мы какие-то там виноделы. А я теперь и вообще маркиза...

Я все ж таки наклонился над источником, сложил руки ковшиком и глотнул. Чистая, свежая вода, холодная, аж зубы ломит. Лучи в ней играют, пляшут на дне, на камушках...

– Думаешь, это и правда источник, который удачу дарит? – спрашивает она. – Это я так... приврала для красного словца. Просто вода. Это ж теперь мои владения, я тут про все знаю. Вон, осел твой сколько выдул, думаешь, теперь ему везти во всем будет?

Я поглядел на свою Салли. Та тихонько объедала куст терновника.

– В жару напиться из источника, – говорю, – уже удача. А теперь давай, сударыня, собраться, дорога дальняя, а нам с Салли еще ночлег найти надо.

– Зачем? – поднимает она бровки, – поедешь в карете... ну, на запятках. Хочешь, конюхом тебя сделаю, хочешь, и правда лесничим? Я ведь хозяйка этих владений, кем захочу, тем и будешь.

И правда, думаю, почему бы мне лесничим не стать? Надену я куртку с галунами, возьму мушкет, и пойдём мы с Салли по окрестным лесам, вон какая тут красота. Людоед тут, правда, по соседству живет, ну так он вроде бы со здешним господином в ладу.

Или, конюхом. Чем конь лучше осла? Разве что крупнее.

– Добро, – говорю, – сударыня. Поехали.

– Госпожа, – поправляет она меня.

– Поехали, госпожа...

Она бросает корзинку на поляне, оправляет свои шелка и идет из лесу, не глядя, значит, следую я за ней или нет. А Салли так к терновому кусту и приросла. Еле я ее отогнал, пока то, се... В общем, вышли мы на дорогу, а там уже кони копытами роют, она из окошка высывается, рукой машет.

– Влезай на запятки, поехали!

– Погоди, сударыня, – говорю.

– Госпожа!

– Погоди, госпожа, а как же Салли?

– Осел твой? Ну, брось его на дороге.

– Никак я не могу бросить свою Салли на дороге. Мне ее батюшка покойный в наследство оставил. Позвольте, я ее привяжу за каретой, госпожа моя.

– И что, прикажешь мне шагом ехать до замка? Да меня ж... меня ж прачки да поварята засмеют, как увидят, что у меня за каретой осел трюхает!

– Ну так поезжай, – говорю, – сударыня. А мы сами доберемся.

Она что-то кучеру говорит, дотрагивается до его камзола белой ручкой, он как дернет поводья! Как свистнет кнутом!

Рванулись горячие кони, аж пыль за ними столбом встала.

Она высунулась из окна, кашляет, сквозь пыль кричит мне:

– Осел! Осел!

– Если вы про мою Салли, – кричу ей вслед, – так она ослица у меня.

– Я про тебя, дурень, – визжит она из последних сил, карета скрывается из глаз в белой пыли, и опять мы с Салли одни на дороге.

– Эх ты, – говорю я Салли, – такую удачу я из-за тебя упустил!

Она ухом повела и молчит.

А с другой стороны думаю, вернется ее господин, с людоедом-то он по-соседски, в ладу он с людоедом, а вот как начет конюха или там лесничего? И почему это у него обе вакансии свободны?

– Ладно, – говорю я Салли, – может это еще не удача была, а так – приключение? А настоящая удача ждет меня впереди? Пойдем, – говорю, – ей навстречу.

Поправил на ней соломенную шляпку, и пошли мы с ней дальше по белой дороге....

Только она уже не белая, а золотая, и с отливом в багрянец, потому что солнце, которое до этого жарило немилосердно, садится за лесом...

Облака крохотные золотятся в синеве, а замок людоеда синеет вдаль, как грозная грозовая туча.

Пчелы, которые сновали в придорожных цветах, потихоньку затихают, улетаю в свои ульи, и цветы закрываются понемногу, сжимают свои соцветия в маленькие душистые кулачки,

выходит, и нам пора бы найти себе на ночь прибежище, тем более, Салли моя устала топать по дороге, чертополох щипать.

В общем, вышли мы к постоялому двору. Не то, чтобы большой, не то, чтобы шикарный какой, обычный придорожный постоялый двор, при нем трактир, , конюшня, все, что положено. Называется «Кот в сапогах». Читать-то я не обучен, но на вывеске именно что кот, и именно что в сапогах.

Вот, думаю, откуда младшенький наш эту идею взял, про сапоги для кота своего драного! Наверняка ведь ошивался в этом самом трактире, когда батюшка посылал его муку продавать!

В общем, зашли мы с Салли во двор, я ее привязал у колоды, воды ей налил, а сам захожу в трактир. Не то, чтобы там полно народу было. Сидит у окна какая-то небольшая компания в темных суконных плащах – и пара местных у огня пиво пьет. Хозяйка ходит, еду разносит. И пахнет, ох, братцы, как пахнет! Нет, скажу вам, пулярка эта самая, господская еда, ни в какое сравнение не идет с жарким из бараньих потрошков! У меня в брюхе желудок аж заворочался от этого запаха!

И тут я сообразил, что ни монеты у меня, потому как младшенький-то последние су выпросил, на сапоги эти... Коту сапоги, ну где это видано, кроме как на трактирной вывеске?

– Хозяйка, – говорю, – вечер добрый. Не приютишь ли нас с Салли на ночь?

Хозяйка отвечает в том смысле, что можно наверху, в спальне, а можно на сеновале и сеновал дешевле будет. Только, говорит, глупостей я не потерплю. У меня все строго, мы не городские какие-нибудь. Кто такая эта твоя Салли? Малолетка, небось, чья-то дочка, яблочко незрелое...

– Господь с тобой, – говорю, – Салли – это ослик мой! Я ее у коновязи привязал! И, кстати, хозяйка, в карманах у меня сегодня ветер гуляет, так что могу за ночлег и ужин дрова поколоть, воды натаскать, что там еще тебе требуется...

– Воды натаскать не помешает, – говорит она, – ступайте со своим ослом и натаскайте.

– Ладно, чего там, сам натаскаю! Салли, бедняжка, целый день шла по пыльной дороге, по белой дороге, по красной дороге...

– Не иначе как ты умом тронутый, – говорит хозяйка, – осла жалеешь, а себя не жалеешь.

А я чего уж там, я двуличный. Старший брат Жак меня колотил, в хвост и гриву гонял, младшенького Жана я на закорках таскал. Одна у меня была радость, приду я к Салли, бархатную мордочку ей поцелую, в ушко пошепчу. Она ресницами моргнет, копытцами переступит – вроде что-то понимает...

Старик мой, царство ему небесное, когда мне Салли отписал, доброе дело сделал.

– Ужин на стол, и все сделаю, – говорю, – а ночевать на сеновал пустишь, и то хорошо. Мы деревенские, нам не привыкать!

Она поглядела на меня, вздохнула, так что блузка на груди натянулась;

– Иди уж, ешь, – говорит, – блаженный!

Я присел за столик к господам в темных плащах, и она ставит перед мной миску с тушеными бараньими потрохами.

– Бог в помощь, – говорю, – люди добрые.

– И тебе, странничек, – отвечает один, видимо самый старший, – издалека ли пришел?

– С дальних мельниц, – отвечаю, – мы с Салли. Вот, шли целый день по белой дороге, глядишь, и к вам дошли.

– И по какой надобности странствуешь?

– Долю свою ищу.

– Богатства, славы, денег, удачи?

– Всего понемножку. Я средний сын, мне много не надо...

– Похвальная умеренность, – отвечает, – Не выпьешь ли с нами пива за компанию?

– Если за компанию, охотно, – говорю, – только погляжу, как там Салли, и вернусь.

Салли моя стояла у кормушки, сено жевала – и ее пожалела добрая хозяйка.

– А вот скажи, – спрашивает старший, когда я вернулся, – чего это ты со своим ослом так носишься? Не иначе он у тебя заколдованный. Слышал я про такие случаи – с виду вроде осел, а на деле принцесса зачарованная или там юный принц, или старый волшебник...

– Насколько я Салли знаю, – говорю, – а я присутствовал при ее появлении на свет, она самый что ни есть ослик. А уж симпатичная была, когда маленькая, сил нет, ну прямо как игрушка. А вообще-то ее папаша мой покойный мне завещал, а значит, надо беречь – это все, что мне от дома родного осталось.

– Как я понял, ты средний сын, – замечает он, – интересно, а старшему твой папа что завещал?

– Мельницу.

Он усмехается.

– Не подумай о моем почтенном родителе дурного. Младшему он и вовсе кота паршивого оставил. Папаша знал, кому что завещать. Жак человек солидный, он за мельницей присмотрит так, что лучше не надо. А Жан пустобрех, ветер у него в голове. И кот его пустобрех, ежели Жан не врет.

– Говорящий, значит, кот?

– Говорящий, сударь.

– Ну и дурень же ты, я погляжу! Впрочем, ты мне нравишься. Выпей со мной, сделай милость.

– Мне с утра воды хозяйке надо натаскать, – говорю, – и я подозреваю, что еще и дров наколоть и огонь развести... В общем, сделать все, что делают честные люди, когда у них денег нет в уплату за кров и пищу. Потому пива я с тобой выпью по кружечке, да и спать пойду. Устали мы с Салли, хлопотный денек выдался.

– Опять же, похвальная умеренность, – говорит старший, – сразу видно, ты и впрямь самый что ни есть средний сын. А вот ежели бы у тебя были деньги, что бы ты сделал?

– Не знаю, – говорю, – приоделся бы, купил Салли новую уздечку, попону купил бы.

– Мелко плаваешь, средний. Я про деньги говорю, а не про мелочь эдакую!

– Домик бы купил с садиком. Лужок для Салли, маленький. Посватался бы к хорошей девушке. Свадьбу справил. Чего еще?

– А больше?

– А зачем мне больше? Я что, маркиз? – отвечаю?

– Эх, говорит, средний, ничем тебя не проймешь! Ладно, бывай здоров!

– И тебе того же, добрый человек!

Он, значит, бросает на стол монету, служаночку проходящую по попке потрепал, и встает. И остальные за ним.

– Кто это, милая девушка? – спрашиваю я служанку.

– Один добрый господин, – отвечает та, – он к нам частенько заглядывает. А уж какой щедрый! И другие господа, его друзья, щедрые тоже.

– И где живет добрый господин этот?

– Сдается мне, – говорит служанка, – что он нигде не живет, потому как господин вольный.

Ох, во-время ушел господин вольный со своими вольными дружками. Потому как чуть солнце село, слышу я во дворе шум и крики, и лязг железа, и служанки все забежали, и хозяйка тоже.

– Ты, вроде, подсобить мне обещал, – говорит, – так давай, начинай. Вон там, в углу, поленница, топор, вон колун, давай-ка, работай. А еще воду натаскать надо, ты вроде обещал воду натаскать, если слух меня не подвел, когда я тебя похлебкой из бараньих потрошков кормила.

– Кто это к нам пожаловал? – спрашиваю.

– Господин наш и хозяин здешних мест, – говорит она, – вернулся из дальнего похода. То ли он неверных трепал, то ли они его, то ли по каким другим делам ездил, а только вот он, а вот его рыцари, и все голодные, что твои сарацины.

– А не оставлял ли ваш хозяин за себя госпожу свою? – спрашиваю я, – такую беленькую, пухленькую, что твоя куропаточка, еще у нее папаша винодел?

– Что там в замке творится, – говорит она, – до нас не касается. Наше дело накормить-напоить, а спать он в замок к себе поскачет, в свои владения, к госпоже своей, беленькой, пухленькой, и туда ему и дорога, потому как уж очень больно щиплется он, господин наш и хозяин, и нраву он до ужаса крутого, чуть что не по нем, так ярится, что держись!

Ну, делать нечего, пошел я во двор, к поленнице. Пока проходил, вижу их, несколько дюжих молодцов, с факелами, с мушкетами да палашами, на горячих конях, хозяин среди них как башня, на сером жеребце высится, красивый господин, видный, борода такая черная, аж синяя.

Уж я и дрова наколот и воду наносил, и огонь раздул, а они за столами сидят, кружками стучат, хозяйка бараний бок подает и зелень и сыр, и еще много чего, чего мне не подавала... Тут мальчишка конюший к господину подбежал, шепчет что-то на ухо. Тот вышел, возвращается, мрачный как туча, в руках у него какая-то тряпка, то есть, теперь-то это тряпка, а была шелковая попона, шитая золотыми цветами и весьма красивая...

– Кто это сделал? – спрашивает, – я, говорит, эту попону в самом Париже покупал, у лучшего тамошнего галантерейщика, золотом за нее платил, потому как шитье мавританское, тонкое... Я, говорит, ваш трактир вонючий сейчас по бревнышку растащу...

– Уж не взыщи, сударь! – хозяйка бедная аж руками всплеснула, – сдается мне, это вот его осел! Он тоже у коновязи был привязан, вот и пожевал изделие-то твое.

– Твой осел? – повернулся ко мне господин, глазами черными сверкает, – ах ты, жалкий, никудышный, мерзкий мужлан... Я эту попону хотел госпоже моей подарить, для ее кобылки-иноходца, а твой осел поганый... я его сейчас порешу, чтобы впредь неповадно было! Понаехали, понимаешь, тут!

Я на колени бух! В ноги ему бух!

– Помилосердствуй, – говорю, – кормилец ты наш, благодетель! Мы ж за тобой, как за каменной стеной! Ты нам пример и опора. Кому, как не тебе судить по справедливости? Неужто осел, тварь бессловесная, наказания заслуживает? Нешто она со злости?

А сам думаю, ах ты, Салли, глупая ты животина, неужто позавидовала красивой попоне на чужой спине? Вот ежели выберемся из этой передряги, куплю ей попонку, хорошенькую, чтобы с вышивкой по краям, маргаритками там или незабудками...

Он, вроде как остыл немножко.

– Были такие казусы, – говорит, вроде, рассудительно, – когда судили животное по человеческим законам, если преступление было соразмерное, и карали соответственно.

– Так ведь какое тут, ваша милость, соразмерное преступление? Как мерить, когда ни один человек в жизни ни одной попоны не сжевал!

Он опять подумал.

– Если осел недееспособен, – говорит он, – тогда судить надо хозяина, проявившего столь преступное небрежение.

Я опять – бух головой ему в ноги.

– Смилуйся, – говорю, – я человек бедный. У меня, кроме осла-то и нет ничего.

– Ну, раз ничего нет, – говорит, – то осла я и конфискую. Хотя твой паршивый осел и клочка шелковой попоны не стоит.

– Господин, – говорю, – да как же так! Это ж наследство мое, папаша покойный мне Салли завещал, чтобы я о ней заботился, холил и лелеял. Старшему он, значит, мельницу, младшему, кота, а мне, среднему...

Тут-то его терпение вышло, и он как засветит мне кулаком в ухо. Я где стоял, там и повалился. Крепко он бил, этот, синебородый. Пришел я в себя, а их уж и след простыл. Хозяйка мне мокрую холстину на лоб положила и на лавку кое-как устроила. Я холстину скинул, – тихо вокруг. Огонь в очаге трещит.

– Где этот? – спрашиваю, – синебородый?

– Уехал, – отвечает, – слава тебе, Господи, уехал, ох, крутой же господин, но, на этот раз обошлось, вроде.

– А Салли где?

– Увез он твою Салли, – говорит, – за жеребцом привязал и увез. В замок не иначе, к хозяйству приспособит.

Я, кряхтя, с лавки сполз.

– Это что ж тут у вас такое делается, – спрашиваю, – что у честного человека последнего осла отбирают.

– А ты бы смотрел за своим ослом лучше, дурень, – говорит хозяйка, – вот напасти-то на свою голову и не нажил. Иди, говорит, отдохни, бедолага, завтра уж на своих ногах в путь пойдешь...

– Спасибо, хозяйюшка, – говорю, – а только пойду я в замок. Салли свою выручать. Пойду, упаду хозяину в ноги, отработаю ему и за попону, и за Салли. Может, говорю, госпожа за меня слово замолвит, вроде как не чужие мы с ней.

Хозяйка на меня поглядела, прищурившись.

– На твоём месте, – говорит она, – об этом я бы не упоминала.

– Да я и не собираюсь, Господь упаси, а только попрошу ее, чтобы она к делу меня пристроила.

– Неизвестно еще, как оно обернется, – говорит трактирщица, – Не везет что-то нашему господину с хозяйками.

– Это как?

– Да так, – говорит она, – впрочем, мое дело маленькое. Хочешь иди, может, что и выгорит. Сейчас выйдешь, как раз к рассвету и придешь. Давай, я тебе еду на дорогу соберу, что ли.

Вот истинно говорят, свет не без добрых людей. Она мне в котомку положила сало, и сыр, и полкаравая хлеба, и вино в баклажке. Пожалела. А то, говорит, хочешь, оставайся, трактир, он мужской руки требует, а одинокую женщину может обидеть каждый. А ты парень крепкий, здоровый, да и вроде, душа у тебя добрая, вон как за свою Салли болеешь...

– Я и рад бы, – отвечаю, – хозяйюшка, – ты и добрая, ты и красивая. Да и о хозяйстве таком я даже и не мечтал. Только ты понимаешь, как же с Салли быть? Она же, бедная, совсем растерялась, ничего не понимает. С чего бы это ее увезли, почему к тяжелой работе приставили, куда я подевался? Я ж родителю моему покойному как бы обязался за ней присматривать, а то с чего бы он мне ее оставил, Салли-то?

– Лучше бы он тебе кота оставил, – говорит она с досадой. – Кот он что – запустил его в амбар, мышей ловить, и каждый из вас сам себе хозяин. Или хотя бы мельницу. Ты бы муку молот, я бы хлеб пекла...

– Я средний брат, – виновато развожу руками, – вот и получил что заслужил.

– Ладно уж, – говорит она, – иди, горе ты мое. Только как надумаешь, приходи, пока я не передумала.

Замок у того господина белый, как сахар. Так и сверкает на солнце. Красивый такой замок, с башенкой.

Я, значит, стучу в ворота, опирает мне какой-то малый.

– Куда? – говорит.

– На работу наниматься. Господин-то где?

Он пожал плечами.

– Ночью приехал хозяин, и верная его дружина с ним. Погуляли-погуляли, да и спать легли. По сию пору спят. Так что погоди, пока спустится он.

– Ночью, говоришь? А ослика с ним не видел?

– Там все сплошь почти ослы, – говорит он, – кто не жеребцы.

– Нет, настоящий ослик, маленький такой ослик, ушки бархатные... Ах да, он еще в шляпке.

– А! – говорит, – видел ослика в шляпке. Хозяин его огороднику отдал, воду возить, навоз таскать...

Огородник, думаю, это еще ничего. Все ж не мельник.

– Ладно, проснется твой господин, спустится вниз, как бы с ним словом перемолвиться?

– А как будет он на охоту выезжать, или на прогулку, ты и подгадай... В замок, – говорит, – не пушу тебя, не того полета ты птица.

– Тогда, мил человек, ты мне какую-нибудь работу придумай, – говорю я, – может, огороднику помощник нужен?

А чего, думаю, по крайней мере буду вместе с Салли, и ей полегче, бедняге, что свой человек рядом.

– Я чего? – отвечает он, – я на воротах стою. А ты ступай к конюху, или еще кому. Может, у кого для тебя работа и найдется. Парень ты, вижу, здоровый, хотя и глупый.

За замком огороды разбиты, и сад яблоневого, и яблоки уже созревают, боками красными в листве светятся, и пчелы гудят в листве, и птичка какая-то свистит. Солнце сквозь лучи пробивается, листва шумит... Богатый у синегорода замок, что и говорить. Тут же, смотрю, старик какой-то яблоки собирает, а рядом моя Салли стоит. На боках у нее корзинки, и он туда уже яблоки положил, и еще собирается.

Я к ней, за шею обнял, в мордочку поцеловал.

– Салли моя, Салли, – говорю, – как же ты без меня, бедняжка?

Она копытцами переступила, вздохнула грустно так, ресницами махнула. Знаете, какие у осликов ресницы? Длиннее, чем у иных девиц.

– Э! – говорит старик, – полегче, малый! Оставь моего осла в покое. Ты кто такой?

– Я ее прежний хозяин, – говорю, – мне ее папаша покойный завещал. Зовут ее Салли, она отзывается на это имя, вы уж сделайте милость, потрудитесь ее по имени звать, и ей знакомо, и вам удобно.

– Надо же, – говорит, – а я Жевеньевой ее назвал. Ну да ладно, Салли так Салли. А ты чего стоишь, малый? Давай, собирай яблоки, да в корзины – вон сколько напало. И води ее на кухню, славный сидр будет.

– Я сам отнесу корзины, дедушка, – говорю, – Салли к такой ноше не привыкла.

– Ты что, малый, – говорит, – совсем сдурел? Ты ж ездил на ней.

– Да я больше рядом шел. А она смотрит какая маленькая.

– Вот оно и видно, что ты большой дурень. Ладно, говорит, бери корзину и давай на кухню. Потом лопату возьмешь, яблоньки окопаешь, а вечером натаскаете с Салли воду, польете, а потом траву сгребете на сено, а потом...

– Полегче, – говорю, – я тебе не лошадь.

Впрочем, мы с нимладили. Он на самом деле добрый старикан оказался, хотя и ворчливый, и нас с Салли попусту не гонял. Вот только никак не мог я господина этого замка увидеть, упросить его, чтобы Салли вернул обратно. Не сейчас, конечно, через годик-другой. Когда отработаю. С одной стороны, работа не пыльная, огородничать это вам не мешки на мельнице таскать, да и кормили тут, вроде, неплохо. С другой, ну как взбредет господину сине-

бородому в голову продать Салли или отобрать у огородника – кто ж ему помешает? Опять же, не всю ведь жизнь в чужой земле копать, надо и мир повидать, и себя показать...

Да только господин долго в замке не сидел. Приехал, привел дела в порядок, и уехал опять.

Тут-то я почесал в затылке и задумался.

– Госпожа-то ваша где? – спрашиваю.

– Госпожи у нас вообще-то долго не задерживаются, – говорит старик садовник, – но последняя вроде уже полгода как госпожой стала, и до сих пор тут. На хозяйстве, где ж ей еще быть? Господин он как ветер в поле, а госпожа как скала у него на пути...

– Повидать бы ее, – говорю.

Он головой качает.

– И не думай, – говорит, – ты мужлан, а она маркиза. У нее слуги есть, лакеи, служанка есть, беленькая, хорошенькая. Тебя и не пустят в замок-то.

– Ну, наверняка ваша госпожа маркиза выезжает погулять, поохотиться?

А сам думаю: уж мы-то с Салли знаем, как она выезжает! Впрочем, не до того мне; как будет она на лошадь у крыльца садиться, или в карету, тут я ей в ножки-то и кинусь! Неужто не отпустит она нас с Салли со двора, по старой-то дружбе?

– Кстати, – говорю, – а куда другие маркизы подевались?

Старик плечами пожимает.

– Не лезь не в свое дело, парень, – говорит, – целее будешь.

Людам, как я понял, под синевородым неплохо жилось. Не то, чтобы они его любили, но уважали, это точно. Хозяин он был крепкий, с соседями в ладу, своих в обиду не давал. Рука, правда, тяжелая у него, так нашему брату мужику это только на пользу. Я сам ничего плохого про него сказать не могу, – справедливый господин, иной мог бедняжку Салли и порешить сгоряча, за попону шелковую, съеденную, а он просто конфисковал, да к делу приставил, вон, цела-невредима, падалицей лакомится.

Вот только хозяйки, как я понял, у него что-то не задерживались.

Болтаюсь я, значит, во дворе, то соломки свежей постелю, то разровняю, то навоз лошадиный уберу... Вроде как при деле, а сам посматриваю на ворота, вдруг хозяйка выедет? Смотрю, и правда, едет, на кобылке-иноходце, кобылка попоной вышитой крыта, правда, похуже той, что Салли пожевала... Сама госпожа в платье из Парижа, ух, какое платье, с хвостом, блестящее, с цветочками, с кружевами.

Я, значит, подошел, поклонился.

– Не обессудь, госпожа, – говорю, – вот, пришлось свидеться.

Она бровки хмурит.

– Мы разве знакомы? – спрашивает высокомерно.

– Как же, госпожа, – говорю, – встречались, на белой дороге, а потом в лесу на полянке...

– В каком еще лесу? – говорит эдак, чуть визгливо, на повышенных тонах.

– Ну, как проезжали вы в карете, а я с моей Салли... Это ослик мой, Салли, если помните...

Она носик вздернула, кобылка под ней пляшет.

– Что ты, мужлан, бред какой-то несешь? Где и когда я могла тебя встречать? Я маркиза, господин мой и хозяин души во мне не чаёт, все мои просьбы выполняет, и даже то, о чем я не прошу. Вон, какое платье мне из Парижа привез, гляди, – одной рукой хвост платья подобрала и у меня перед глазами вертит. И на руках меня носит, и лучшие куски мне, и всякие заморские яства – мне, и все ключи у меня, и от кладовых, и от бельевых, и от погребов... вот только этот ключик, – опять нахмурилась немножко, – маленький, беленький.... Отчего он?

– О ключике потом, госпожа, – я придержал ее кобылку за узорный повод, – раз ты надо всем хозяйка, прошу, отпусти нас с Салли, смилуйся! Или позволь мне выкупить ее, я отработаю, вот увидишь! Или...

– Салли твоя кто? Осел? Так Господь ослам трудиться назначил, – говорит она уже сердито, и повод дергает, – она на себя, я на себя, кобылка ее на месте пляшет, – и ты осел, хуже Салли твоей. И чтобы больше на глаза мне не попадался, – говорит, а то велю тебя высечь на конюшне!

Я повод отпустил, она хлыстиком кобылку сердито стукнула и поскакала, только солома из-под копыт. Я гляжу, приоткрыв рот, дурень я дурень, средний брат, не умею я с высокородными, напомнил ей о полянке, а надо было по другому подойти... Как по-другому? Не ведаю.

Побрел я на огород к Салли.

– Эх, – говорю ей, – Салли, ослинька моя, дурак у тебя хозяин, средний брат, одно слово. Впрочем, я теперь тебе и не хозяин! Потерял я отцовское наследство, а с ним и отцовское благословение, вот уж воистину с женщинами хуже, чем с ослицами. И глупые они, и упрямые... Ты-то, говорю, Салли, мое золотко!

Ничего Салли, понятное дело, не отвечает, она же не кот говорящий, только копытцами переступает и мордой мне в руку тычется.

Я ее яблочком угостил и за лопату взялся, потому как дела есть дела, а я кто? – средний брат, помощник огородника на заднем дворе белого замка, где живет маркиз со своей маркизой.

Уже ближе к вечеру, значит, распрямил я спину... Белый замок на фоне синий тучи под закатными лучами то розовый, то золотой, в небе словно гирлянды роз закат развесил, в саду настоящие розы пахнут, сил нет, а еще душистый горошек и матиола, и другие вечерние бледные цветы, которое только-только начали раскрываться, все лепестки в вечерней росе. Аист пролетел, машет тяжелыми крыльями.

Тут Салли моя что-то насторожила ушки, мордочку подняла. И я слышу, бежит кто-то, ломится через кусты.

Вот так диво, бежит ко мне госпожа маркиза. Платье нарядное кустами изодрано, она его руками исцарапанными придерживает, волосы растрепаны, лицо в слезах, нос распух, глаза вытаращены.

– Там, – кричит, – там!!!!

Бросается мне на грудь, и в слезы. Аж трясется вся.

– Успокойся, госпожа, – говорю я, похлопывая ее по спинке, – ты успокойся и все как есть мне расскажи.

Она нос утерла, всхлипнула.

– Ах, Жан, – говорит.

– Рене, сударыня.

– Ну, Рене, какая разница! – и тут опять как всхлипнет, как затрясется! – какой ужас, Рене, какой ужас!

А вокруг тихо, цветы благоухают, небо темнеет, красные полосы в нем гаснут, яблони стоят темные, как вырезанные...

– Кто вас обидел, госпожа маркиза?

– Ключик, – рыдает она, – ключик!

И тычет мне в лицо зажатый кулачок.

– Разожмите ручку, – говорю.

На ладонке у нее ключик лежит, маленький. Только он уже не белый, а вроде как в бурых пятнах, в сумерках и не разглядеть.

– Ничего, – говорю, – что ж вы так убиваетесь? Сейчас песочком ототрем, и все будет в порядке.

Она головой растрепанной кивает.

– Да, да, ототри, будь любезен, Жан,

– Рене, сударыня.

– Да, Рене. Ототри, а то, он убьет меня, – рыдает, – он меня тоже убьет и на крюк повесит, ах!

– Что ж вы такое говорите, сударыня! Кто ж на вас, на маркизу осмелится руку поднять? Супруг ваш, маркиз, никому вас и пальцем тронуть не даст. Он господин строгий, но справедливый.

Говорю, а сам тру этот ключик. И вот в чем притча-то, не оттираются пятна! Как ни тру, они словно бы все ярче проступают...

– Не получается, сударыня, – говорю.

Она аж взвизгнула, бедняга.

– Он, строгий, но справедливый, и повесит. Ах, беда, беда! Я так и знала! – плачет, – я уж и сама терла-терла, и служанка терла-терла, и платочком шелковым, и уксусом винным, и уксусом яблочным, и...

– Полегче, – говорю. – Я средний брат, соображаю туго, вы уж простите, сударыня.

Она всхлипнула и вытерла нос ладонью.

– Я все думала, что там в этой кладовке, которую открывать нельзя, – говорит она жалобно, – ведь как же это так; все можно, а это нельзя? Что там такое замечательное?

– Не велено, значит, не велено, – говорю, – чего ж тут думать?

– Да-а, – она утирает нос уже рукавом, – тебе легко говорить. Ты мужлан, тебе что скажут, то ты и делаешь. А я у папы не так воспитывалась, я ни в чем отказу не знала. Значит, раз господин и хозяин мне не доверяет, он меня не лю-ю-ю-юбит!

И опять в рев.

– Так ведь доверял же он тебе все ключи! Яствами заморскими кормил. Платья из Парижа возил. Попону вот привез, ну, ее, правда, Салли сжевала. От супруги что требуется? Слушаться. Мужчина, – говорю, – он что ветер, а женщина – скала на его пути.

Красиво сказано было, я и запомнил, только ввернул, похоже, все-таки не совсем к месту.

– Да, – плачет, – а клюю-ючик! Я ночами не спала, все думала, пойду, проверю, что там! Вот он в Париже был, я терпела, с маврами бился, я терпела, а как уехал на охоту, я и не вытерпела. Открыла кладовку, а та-ааа!!!!

И опять в рев.

– Да что там такое в кладовке той, сударыня?

А у самого аж в животе холодеет. Потому что понимаю, ничего хорошего в той кладовке быть не может. У нас видите ли, что ни маркиз, то чернокнижник, что ни владетель, то людоед, места беспокойные, времена тяжелые... Этот, синебородый, еще не из худших, уверяю вас, судари мои.

– Кровии-ищи на полу... И крюки на стенах. А на крюках...

Она меня за шею руками обхватила, трепещет, как птичка.

– Там мертвые женщины на крюках! Семь или восемь! Платья белые, висят, качаются. Глаза пустые. Семь или восемь. Не знаю, у меня в глазах потемнело, ноги подкосились, я ключик в лужу крови уронила и он теперь краа-асный.

– От такого, – говорю, – у кого хочешь в глазах потемнеет. А ключик, он не иначе, как зачарованный.

Вот куда, думаю, прежние хозяйки-то подевались.

– Что делать, Жан, – плачет, трясется, – что делать?

– Повиниться. В ноги кинуться, может, простит. Он же любит вас, вон, платье из Парижа привез!

– Нет-нет, – головой мотает, аж волосы ее мне по щекам хлещут, – Это он нарочно... это испытание такое... они тоже, Жан, тоже эту кладовку открывали. За то и повешены. Семь или восе-ееемь! И один крюк пустооой!

– Бежать надо, госпожа моя, – говорю, – может, и не найдет, не догонит.

Уж и не стал ей говорить, что я не Жан, а Рене, все равно не запомнит, бедняга.

– Вы на свою кобылку, я на своего ослика... довезу вас до дома батюшки вашего, он вас спрячет, не выдаст!

Она вроде как немножко успокоилась, и говорит:

– Ах, как ты прав, Жан! Именно к батюшке! Сейчас только платья свои парижские соберу, и поедем!

И, подбирая юбки, бежит через кусты обратно к замку.

– Стой, сударыня! – кричу, – ну зачем тебе эти платья? Тут жизнь свою драгоценную спасать надо, знаю я этих маркизов-чернокнижников! А платья батюшка твой тебе другие купит.

– Ты ничего не понимаешь, дурень, – кричит она на бегу, не оборачиваясь, – они же парижские! И колье, колье, которое маркиз мой супруг, чтоб ему пусто было, на свадьбу подарил, оно бриллиантовое, с рубинчиком.

Чего с бабы возьмешь, хоть она маркиза, хоть кто. Я бегу за ней, чтобы, значит, уговорить ее сесть на лошадку, да и скакать отсюда, и тут слышу, рога трубят, серебряные трубы поют. Маркиз в замок возвращается.

Маркиза бедная моя совсем побледнела, руки с растопыренными пальчиками к щекам прижала, а пальчики у нее розовые, что виноградинки. Впрочем, это я уже говорил, кажется.

– Что же делать, Жан, – говорит, – что же делать?

– Пожалуй, сударыня, говорю ей, – мне пора вернуться к своим обязанностям. Мне еще две яблони полить, и дрова натаскать, и золу рассыпать... Чеснок, опять же, зелень... Раз супруг ваш с охоты, значит, дичь надо шпиговать, все такое, уж извините.

Она мне в руку вцепилась.

– Нет-нет, не оставляй меня, Жан, умоляю!

– Какой я тебе Жан, – говорю, – пусти, дура!

– Ох, Рене! – плачет (вспомнила!) – я ж с тобой! Мы ж с тобой! Мы ж не чужие... Полянку ту помнишь? Там еще источник волшебный?

– Обыкновенный был источник. И полянку я почти не помню, – отвечаю холодно, – подзабыл что-то...

А она все плачет, мне за руки цепляется, на шее виснет.

– На кого мне тут положиться, – спрашивает, – все кругом чужие люди! Все его вассалы. Ты ему клятвы не давал ведь, так, Рене? Ты ж сам по себе?

– Что с того, сударыня, – говорю, – я сам по себе, вы сама по себе. Ладно, говорю, не оставляю вас. Только вот – куда нам деваться? Ведь не выберешься уже, вон они в ворота въезжают – трубы трубят, псы лают.

– Ах! – стонет она, хватая меня за руку и куда-то тащит, – в башню надо. Вот туда, наверх, по винтовой лестнице!

– Ну и что, госпожа моя? Заберемся мы в башню... Он же нас оттуда выкурит по всем правилам фортификационной науки.

– Ничего ты не понимаешь в фортификации, дурень! Я заберусь на самый верх, буду платочком махать, будет рыцарь проезжать полем, белой дорогой, увидит, приедет, сразится с маркизом, спасет!

– А я тут причем?

– А ты будешь лестницу от маркиза оборонять, – она уже пришла в себя, охорашивается и платье разглаживает, – видимо представляет, как будет шевалье ее спасать, – по всем прави-

лам фортификации. Лестница узкая, винтовая. Там в одиночку целому отряду противостоять можно. У того, кто сверху, явное преимущество при обороне.

– Эх, сударыня, – говорю, – во что ты меня втравила!

Снял со стены алебарду и побежал с ней наверх. Пока бежал, аж упрел весь.

Внизу слышу топот, хлопанье дверей, грохот... И такой, полный ярости и боли вопль. Нашел-таки маркиз открытую каморку.

Госпожа на балкончик вспрыгнула, платочком машет.

Вот ведь беда какая, вы понимаете, маркиза эта на самом деле хуже травы-белены. Дурная баба, так и норовит с кем попало на лужайке поваляться, в голове только платья да украшения, да еще мужчины. А маркиз этот синебородый на все глаза закрывал, и наряды ей парижские дарил, и что там еще, и попонку на лошадку, ладно, бог с ней, с попонкой, но ведь и колье с рубинчиком, и ключи, и всему она полная хозяйка была, и вообще неплохой маркиз, ежели честно, строгий, но справедливый. Одно только от дуры-бабы требовалось – каморку не открывать. Не открыла, так бы и прожили всю жизнь в мире и согласии, вот ведь какая петрушка получается.

Слышу, по винтовой лестнице топот и лязг. Идет грозный синебородый господин вешать свою госпожу на крюк в кладовку, где уже семь таких висит. Или восемь.

Госпожа на каменном парапете так и скачет, платочком размахивает.

– Едет рыцарь?

– Нет. Никак не едет.

– Тогда, – говорю, – что ж.

И встал поперек лестницы, алебарду наизготовку.

Грозный маркиз бежит, пыхтит.

Увидел меня.

– А это кто еще такой? – спрашивает.

– Я это, ваша милость, – отвечаю, – моя Салли еще попону вашу съела, помните?

– Что за болезненный бред, – говорит, – я тебе что, лошадь, чтобы в попонах ходить?

– Вы-то не лошадь, – говорю, – да вот Салли ослик.

– Пшел вон, дурак!

– Не выйдет, – отвечаю, – госпожа ваша дура-дурой, но вы бы ее оставили в покое, господин хороший! Отпустили к папе-виноделу.

– Не выйдет, – говорит он в свой черед, – висеть ей на крюке, потому как нарушила она единственный запрет, который я на нее наложил. А коль скоро она этот единственный нарушила, значит и остальные перед Богом не соблюдет.

– Господь с вами, добрый господин, она этот ваш запрет дольше остальных соблюла.

– Не смей так говорить про маркизу, мужлан, – ревет он, – это тебе не шлюха какая-нибудь.

– Никуда эта госпожа не годится, – пробую я его уговорить, – вытолкали бы ее взашей, отпустили бы ее обратно к папе. А себе бы нашли другую, хорошую...

– Со временем найду, – говорит мрачно, – не эта, так другая.

– Да вы же скольких эдак перевешаете!

– Я хозяин, – ревет, – моя жена, что хочу, то и делаю.

Понял я, что дело плохо. Он из нежных, из мечтателей, все идеальную любовь ищет. Пока искать будет, у него там в кладовке черт знает сколько баб скопится, крюков не хватит...

– Ну, так извини, – говорю, – эту дуру и мне не жалко, потому как дура сущеглупая, но сколько ж их еще будет, дур-то! Еще в Священном Писании сказано – баба она запретов не терпит, ежели что бабе запрети, то она первым делом и сотворит, назло всему миру. Эдак вы всех дочерей Евы в округе изведете.

И шарах его алебардой.

Он с лестницы-то и покатился.

– Едет кто? – кричу наверх.

– Ах, нет, – отвечает, – нет никого.

– Да и ладно, – говорю, – пришиб я твоего господина, уж не взыщи.

Она с парাপета прыгнула, глянула вниз, а там уже люди у подножия лестницы толпятся, и все в растерянности.

– Лучше бы рыцарь его в честном бою победил, – говорит она, – как-то тактичнее было бы. Да ладно, и так сойдет. Ты, – говорит, – следом за мной ступай.

Спускается, величаво так, голову держит, и провозглашает громко.

– Господин ваш и хозяин был чернокнижник и злодей. Если кто хочет в этом убедиться, пускай заглянет в его кладовку, ту, что я отперла вот этим ключиком... Но я разоблачила его, и вызвала моего брата, чтобы он сразился с убийцей женщин. И брат мой храбро сражался, и злодея одолел в честной схватке.

И мне наверх, нежно:

– Рене, где же ты, братец? Иди сюда!

Люди с ноги на ногу переминаются, жмутся – похоже, кое-кто уже успел в кладовку заглянуть.

– Я господину вашему супруга и наследница, – и она остальные ключи отвязывает от пояса и значительно ими звенит. – А потому велю я тело убрать, кровь затереть, супруга моего преступного похоронить с почестями, несчастных этих, им убиенных тоже, а вас призываю в свидетели, что бой был честный, а вам я есть законная госпожа!

Я свирепое лицо сделал и пару раз алебардой взмахнул. На всякий случай.

Они кивают, на меня косятся с опаской и приступают к делам... Госпожа смотрит на меня.

– Ох, – говорит, – натерпелась же я страху.

– Ладно, – отвечаю, – чего уж там.

– Награжу тебя по-царски, – говорит она, – сейчас велю, чтобы тебе пять золотых отсыпали... нет, все-таки два. Два золотых, целое состояние.

– Два золотых мне не помешают, а главное, – говорю, – Салли мою отпустите, ее ваш господин ныне покойный в уплату ущерба забрал.

– Какого ущерба? – она прищурилась.

– Попону она сжевала, шелковую...

– Вот оно что... ну, так золотой я с тебя за попону удерживаю, – говорит она, – а попона была вышитая? Из Парижа?

– Вышитая. Из Парижа.

– Два золотых удерживаю, – она говорит, – забирай свою Салли и проваливай.

Задумалась.

– А то, – говорит тихонько, – оставайся. Я скажу, что ты мне брат не родной, а двоюродный, и священник, как отпоет несчастных этих, в положенный срок нас обвенчает. Хочешь маркизом стать?

– Нет, сударыня, – говорю, – уж не взыщите. Ну какой из меня маркиз?

А сам думаю, этой дай войти в силу, она еще похлеще своего господина дела тут закрутит.

– Тогда, убирайся, – взвизгнула она, – бери свою ослиху и убирайся!

Я не стал дожидаться, пока она передумает. Побежал к Салли.

– Салли, – говорю ей, целуя ее в мордочку, – вот ты опять со мной, а я с тобой. Доедай свое яблоко, Салли, не скоро ты другое такое найдешь! Потому как пора нам в путь. Так что прощай, добрый человек – это я огороднику.

Тот даже расстроился.

– Я к тебе уже привык, – говорит, – и к Салли твоей.

Подумал.

– И все-таки, – говорит, – для ослика Жевеньева больше подходит.

* * *

– Салли, Салли, – пел я во все горло, пока мы с Салли топали по белой дороге, – опять мы вместе! Вот какой прекрасный Божий мир вокруг, синий и зеленый, золотой и белый, а мы с тобой в самом его сердце, точно в драгоценном сосуде.

Ветки деревьев, что росли у обочины, стали гуще, и вот они уже смыкаются над моей головой, как зеленый шатер, и вокруг такой зеленоватый свет, точно мы с Салли идем по дну озера.

Кругом ни души, птички поют... И тут кто-то как спрыгнет с дерева!

Я сначала испугался, а потом смотрю, старый знакомец: господин вольный, из трактира «Кот в сапогах», и его дружки тут как тут, выходят из-за кустов. У всех морды повязаны черными платками, но я их все равно узнал.

– Кошелек или жизнь! – говорит вольный господин.

– Бог в помощь, – отвечаю я, – и всей твоей честной братии. Нет у меня кошелька, только жизнь. Но зачем она тебе, добрый господин? Жизнь это такая штука – она может принадлежать только тому, кто ею владеет, и ни отдать ее, ни поменять не представляется никакой возможности. Так, во всяком случае, философы говорят.

– А! – говорит он и стаскивает с морды платок. – Это ты, средний брат! Прости уж, не признал тебя.

– Меня признать непросто, – соглашаюсь я, – потому что я во всем средний. Я как все. А вот Салли мою по шляпке можно признать.

– Я на осликов, – говорит вольный господин, – редко обращаю внимание. Все больше на жеребцов в богатой сбруе.

– Ну, – говорю, – у каждого свои слабости.

– Ладно, – говорит вольный господин, – раз уж судьба нас свела, милости прошу к нашему шалашу. Пошли, выпьем, как раз пора перехватить чего-нибудь, а то все утро торчим тут на дороге без толку.

– Отчего ж, – говорю, – не выпить с тобой, и твоими доблестными друзьями? Пошли, выпьем. Спрыснем удачу.

И, держа Салли за повод, нырнул за ним следом по незаметной тропинке.

Даже вольному человеку какая-никакая, а крыша над головой нужна, потому наши вольные господа устроили себе настоящее логовище, на стенках у них висели мавританские ковры, на полу шелка всякие... Пили и ели они на серебре – не я один проезжал по белой дороге... В котле варится похлебка из зайчатины...

– Ну, – говорит вольный господин, – садись и угощайся, средний брат.

– Весело живете, – говорю я, – а чьи это земли?

– Людоеда.

Я заячью ножку чуть не уронил.

– Не боитесь, господа хорошие?

– Людоеду и без нас хватает, с кого шкуры драть, – отвечает вольный господин, – а владения у него большие, леса богатые... Вот рядом рыцарь живет, такой с синей бородой, так он победнее будет маленько...

– Жил, – поправляю.

– Э? – поднял брови вольный господин.

– Эге, – говорю я, – неудачно получилось, право слово...

– Я-то думал, что ты простак.

– Я и есть простак. Даже два золотых, что заработал, госпожа его, а ныне безутешная вдова, и то с меня удержала.

– Баба, – говорит вольный господин, – она баба и есть. Дочь змеи.

Только-только завязался у нас душевный разговор, как вдруг – фррр! Что-то врывается в шатер и кидается мне на грудь; такой комок взъерошенной шерсти.

Я, значит, беру его за шкурку, отрываю от себя, а он мне когтями в куртку вцепился, не отпускает.

– Ох, ты! – говорю, – да это ж кот Жана, младшенького моего. И до чего перепуганный! Как бы чего не приключилось с малышом нашим.

Малыш-то уже пару лет, как бороду бреет, и не одну девку в округе обрюхатил, но ведь все равно братик, младшенький...

Кот когти убрал, морду лапой утер, и тут я вижу; батюшки, да он в сапогах!

Ну, сапоги, конечно, паршивые, скроены кое-как, да и чего хотеть: кроились-то на кошачью лапу.

– Бедауу! – вопит кот жалостно.

– Ишь ты! – восхитились вольные люди.

– Хозяин мой-яяя!!!! – продолжает орать кот, – на веррррную смерртть!

– Да ты никак и впрямь говорящий! – я все-таки исхитрился взять кота за шкурку, и теперь он медленно поворачивался у меня в руках вокруг своей оси.

Он, бедняга, только муркнул.

– Все коты говорящие, – уныло признался он, – дело-то нехитрое. Но кому охота себя выдавать? С говорящего-то и спрос другой!

В общем, выяснилась такая история. Кот уговорил всех окрестных работников, чтобы на вопрос проезжающего короля (а короли у нас не так уж часто проезжают, будьте уверены!), чьи земли, отвечать, что, мол, земли маркиза Карабаса. А младшенький, значит, одежку свою припрятал, засел в пруд и стал кричать, что он этот самый маркиз Карабас и есть, и пока он купался, его, мол, разбойники ограбили.

– Погоди-погоди, – нахмурился старшой, – какие-такие разбойники? Да мы твоего маркиза пальцем не трогали.

Кот уныло повесил усы.

В общем, король распорядился выдать Жану запасной комплект одежды, посадил его к себе в карету и поехал по его приглашению в гости. Иными словами, прямо людоеду в лапы! Потому как и земли, и замок, понятное дело, людоеда. А не Жана вовсе. У Жана, повторюсь, кроме кота, ни движимого, ни недвижимого – никакого имущества сроду не водилось.

А коту поручено было людоеда известить. Как? А как знаешь!

А с кота что взять? Вы когда-нибудь слышали, чтобы кот людоеда одолел?

Вот и я нет.

И теперь Жан в королевской карете катит прямо людоеду в лапы. А также сам король, и, как выяснилось, принцесса. Так я и думал. Где Жан, там принцесса. Уж такая его удача. Только вот с людоедом ему не повезло.

– И впрямь беда, братцы, – говорю, – выручать надо Жана.

Вольные люди мнутя, переглядываются.

– Начнем с того, – это старшой, – что он нас оговорил. Не трогали мы его.

– Вы уж, братцы, простите, но неужто никогда ни одного честного путника вы не облегчали на толику благ земных?

– Ну, – признается старшой, – бывало дело. А только брата твоего мы не трогали. К чему голодранца грабить? К тому же, не пойдем мы на людоеда. Во-первых, он нас не трогает. А во-вторых, уж больно он неприятный тип, людоед этот. Ух, до чего неприятный.

– Братцы, – говорю, – вот ежели бы вместо людоеда мой Жан в замке сидел, он бы вам жалование платил серебром, и кормил до отвала, и браконьерь не хочу, и что там еще...

– До этого, – мотает башкой, – еще дожить надо.

– Ладно, – говорю, – я пошел. Вы уж будьте любезны, присмотрите за Салли. Она вам пригодится. Только не перегружайте ее работой, она хороший ослик.

– Погоди, – мнетса старшой, – неловко оно как-то. Или мы не разбойники? Сейчас выпьем еще немного, расхрабримся, колья да пики похватаем...

– Нет, – говорю я, – тут приступом не возьмешь. Тут надо хитростью. Большая у него дружина, у людоеда?

– Нет у него никакой дружины. Вообще никого нет.

– Не понял. Как же он замок держит?

– Чернокнижник он.

– Что с того? У нас тут любой сеньор чернокнижник.

– Да, но этот особенный. Всем чернокнижникам чернокнижник. Его даже маркиз-сосед боялся, а уж на что горяч был!

– Ладно, – говорю я коту, – пошли, проводишь!

Кот шерсть вздыбил, хвост распушил, уши прижал.

– Няууу! – отвечает.

Я вообще против котов ничего не имею. Но какие-то они... ненадежные, что ли?

– Признавайся, – говорю, – кто из вас такой замечательный план удумал? Ты своей коша-чьею башкой, или Жан, братишка мой?

Тот молчит, сапожком землю ковыряет.

– Ты хоть был там?

– Ушшшшас, – шипит, – ушшшшасссс!!!!

И от страху аж глаза свои зеленые жмурит.

– Ладно, – говорю, – я пошел.

– Что? – говорит старшой, – без оружия?

– Я так думаю, с оружием он меня на порог не пустит. А мы по-простому. А вы королевскую карету подзадержите-то, как умеете!

– Это мы завсегда, – говорит старшой, – это, можно сказать, наша работа!

Поцеловал Салли в мордочку, еще раз попросил вольных господ не обижать ее, и двинулся в путь. Замок людоеда темнеет, точно грозовая туча, да и неудивительно – гроза, кажется, и впрямь собирается... И в далеких синих тучах вроде бы как искры вспыхивают, и раскат грома далеко-далеко, чуть слышный...

Для чего Господь пристроил в тучах небесный огонь? Ума не приложу.

Долго ли коротко, а дошел я до ворот. Ворота закрыты на железный засов, крепкие, дубовые...

Рядом молоток висит и дощечка медная.

Стукнул я молотком по дощечке.

Гляжу, охо-хо, ворота сами открываются, медленно так, на скрипящих петлях. Я осторожно заглядываю внутрь – за ними двор пустой, серым камнем мощен. И ни души.

Замок уж такой огромный, что, когда на его башню смотришь, голову задирать приходится.

Гроза тем временем собирается уже бесповоротно, стянулись тучи над замком, бурлят, точно вода в мельничной запруде.

Как только я на крыльцо взошел, двери тоже распахнулись. И голос из полумрака, тихий:

– Добро пожаловать, мил человек!

Окна в зале зашторены, в камине только пепел, пылью подернутый, а посредине залы стоит старичок, хилый такой, чуть сгорбленный.

– Ты, – говорит, – никак грозу переждать решил. Милости прошу.

Я оглядываюсь – зала тоже тихая, пустая, факелы на стенах не горят, только пара свечей в подсвечнике на столе чуть теплится, и стол пустой – ни скатерти, ни приборов, ничего... И тихо-тихо, даже мыши в соломе не шуршат.

Ох, братцы, как мне страшно стало. Стою и крою про себя Жана последними словами.

– Я, сударь, мимо проходил. Позволите – грозу пережду и дальше пойду, а может, сделаете милость, на работу наймете. Я странствую налегке, тут наймусь, там поработаю...

Он ручки сухонькие потирает:

– Нет, – говорит, – мне работники не нужны. Хозяйство у меня маленькое, коза да куры... Я за ними сам ухаживаю.

– Так ведь печь натопить, воды натаскать...

– Мне, мил человек, много не надо.

Мне аж стыдно стало. Тихий человек, любезный... А на него поклеп все возводят.

Я и бухнул:

– А в округе говорят, ты, мол, людоед!

– Темный у нас люд, – говорит хозяин замка, – безграмотный. Вот если бы было просвещение распространено повсеместно, и селяне тянулись к свету науки, то суевериям быстро конец бы пришел. А их только в кабаки и тянет...

– Вон, дверь у тебя сама собой распаивается!

– Механизм и больше ничего, – говорит он, – вон, блок укрепленный, вон веревка. Что ж я буду под дождем бегать, дверь открывать?

– Что обращаться можешь во всяких зверей...

– Суеверие, – отвечает, – темнота и невежество. Ты вообще представляешь себе, как человек устроен?

– А как же. Смертная плоть и бессмертная душа.

– Волосной покров, кожа и мышцы. Далее идут соразмерно расположенные внутренние органы. Как они могут трансформироваться в звериное тело? Это законам природы.

– Жаль, – говорю, – я бы посмотрел на сие удивительное зрелище!

А сам думаю – уж очень он осведомлен о том, как человек изнутри устроен! Все ж таки, наверняка людоед. С другой стороны, если не брать в расчет бессмертной души, человек отличается от животных только тем, что ходит на двух ногах. Взять, например, мою Салли...

– Добрый господин, – спохватился я, – раз уж ты столь щедр и милостив, то, может, и еда у тебя найдется?

– А как же, – говорит он, семенит к буфету и достает оттуда блюдечко, а на блюдечке высушенный сухарик и корочка сыра.

– Благодарствую, – говорю.

А сам думаю, – это тебе не синебородый рыцарь, грозный, гневливый, убийца женщин, это почтенный старец. Ну вот повернулся ко мне спиной, что бы мне его не шарахнуть подсвечником? Так ведь не могу... Жалко и его живую душу, и мою, бессмертную!

А все ж таки едет, едет карета к замку, а в карете король и принцесса, и братец Жан... Разве что ребятишки вольные и правда задержат ее немного на дороге, дерево поперек положат, или что там...

– Господин, – говорю, – ты уж позволь, я в курятник схожу, курицу зарежу. Я ее так сготовлю, королю подать не стыдно будет!

– Питаться животной пищей, – отвечает он кротко, – для мыслящего человека неразумно. Потому как от мяса полнокровие, гневливость и избыточная отвага. Можешь пойти, собрать яйца.

Ну что тут скажешь?

– Да возвращайся поскорее, – говорит, – потому как вон, гроза собирается.

– Да что мне, я не сахарный!

– Не в том дело, – говорит ласково, – а в том, что эта гроза как раз то, что мне требовалось для дальнейших изысканий! И коль уж ты здесь, то будь любезен, окажи мне одну услугу... Мне помощь требуется, а прислуга разбежалась вся.

– Располагай мной, сударь, как душе твоей угодно, – говорю я, а у самого поджилки трясутся.

Людоед он, вот те крест, людоед!

– Тогда пойдем, – возвысил он голос, – Бог с ним, с курятником! Бери свечу и пойдем...

Там лестница в подвал была, он впереди идет, ключи от пояса отцепил, держит за кольцо, а я за ним, со свечой. Иду, рука у меня трясется, тень его на стене растет, огромная, синяя, дурак, думаю, дурак, средний брат, сам своей рукой себя в подвал на крюк разделочный подвешиваю! Ах, у него там на холоде все и хранится... И бочки для засола, и коптильня, и еще как на бойне такие тазы медные, в которые кровь сливают...

Прислуга разбежалась у него, у людоеда!

Он ключами гремит, дверь отпирает...

Ничего подобного в подвале-то и нету. А есть много такого, чего я и пересказать не могу: колдовские сосуды, стеклянные кувшины, шары, катушки какие-то медные, проволоочки, столб железный посреди погреба от пола до потолка, а у столба...

– Отец мой, – говорит тихонько, – грозный победитель мавров, получил этот замок от старого короля... Однако я с ранней юности отринул кровавые игрища и обратил свой взор к познанию натуры... И родитель на смертном одре проклял меня, единственного своего сына, за то, что я пренебрег семейным поприщем и славный род опозорил.

– С тех пор преследуют меня неудачи в моей науке, хотя, признаться, верить в то, что проклятие может неблагоприятно повлиять на ход научных опытов – есть чистейшей воды суеверие, недостойное культурного человека.

– Это ты, сударь зря, – говорю я, а сам еле зубы разжимаю, которые так и норовят стукнуть друг о друга, – ибо родительское проклятие – самое страшное, что может произойти с человеком.

– Предрассудки, – машет он рукой. – Признаю, я не только воинским долгом, я и семьей в азарте научных исследований пренебрег. Ибо, когда умирала в горячке супруга моя и маркиза, я, увлекшись, записывал симптомы, и поздно лекаря вызвал.

Тут он хихикнул.

– Однако, – говорит, – эту беду я поправлю. Ибо после долгих лет исследований, убедился я, что все в природе обратимо. И ежели можно жизнь отнять, то можно ее и вернуть.

– Да, коли ты сам Господь Бог.

– То, что Богу подвластно, то и человеку под силу, —

Огонь, скрытый в молнии, есть движущая сила... И приспособив эту движущую силу в небольшом количестве к мертвой мышечной ткани, можно заставить ее сокращаться, иными словами, вернуть ее в живое состояние, хотя и на небольшое время, пока движущий импульс не иссяк.

Вот тут я и взглянул на то, что к столбу было примотано. Высохший труп женщины, кожа что твой пергамент, лицо прядями светлых волос прикрыто, платье истлевшее, но видно, что парчовое было, дорогое...

– Кто это, господин? – спрашиваю я шепотом.

– Моя жена, – говорит он спокойно. – Когда скончалась супруга моя, я ее при соответствующей температуре сохранил в относительно неповрежденном виде по рецепту египетских мудрецов, с тем, чтобы, когда овладею тайной жизни и смерти, вдохнуть в нее жизненную искру, и тем самым вновь обрести помощницу, разделяющую мои духовные интересы.

– Негоже это, сударь, – говорю я шепотом.

А сам дрожу – людоед он, как есть, людоед, всех вокруг извел, отца в могилу свел, жену свою опять же, а кого не свел, те, видно, разбежались...

– Ты, – отвечает он, – в суевериях погряз, потому как темнота, а в науках ничего негодного и противоестественного нет, поскольку они следуют законам природы. Сейчас ассистировать мне будешь.

– Чего, сударь?

– Видишь, – говорит, – столбжелезный, а от него медная проволока тянется. Надо ее поднять на самый высокий шпиль самой высокой башни, тогда небесный огонь ударит в нее, пойдет по столбу, переродившись в жизненную силу, и сообщит ее неживой материи, чтобы опять сделать ее живой. Ибо что есть живая материя, как не мертвая, оживленная движущей силой? Я это окончательно доказал, и дело теперь за тем, чтобы поставить решающий опыт, подтверждающий многолетние исследования.

– Ага, – говорю, хотя в глазах у меня уже темно от ужаса.

– Так что бери вон ту катушку с проволокой, которую я называю «провод», поскольку по ней должен пройти жизненный импульс, и тащи ее наверх, разматывая по дороге. На самую высокую башню, ясно тебе? Только держи катушку за деревянные ручки и к проволоке не касайся, а то сила, соприкоснувшись с живой тканью, оказывает действие обратное, иначе губительное!

Я, значит, беру катушку и, пятась, выбираюсь из погреба, оставляя за собой блестящий след, будто слизняк какой, и в голове только одна мысль – убраться бы отсюда подальше... Из залы на башню ведет винтовая лестница, узкая, темная, проволока, именуемая проводом по всему залу тянется медным ручейком, и тут мне кто-то темным комком бросается под ноги.

– Ты чего тут делаешь? – говорю, – или не страшно?

– Охxxx! – шипит кот, – страшно!!!!

– Так беги отсюда! Мне самому страшно!

– Фррр! Не брошшу...

Никогда этих котов не поймешь.

– Тогда, – говорю, – держи катушку. И лезь на самый верх. Там прицепишь. Только, – говорю, – за проволоку не берись, и сапоги не снимай. Знаю я этот небесный огонь! Как шархнет, костей не соберешь.

– Ожживит, – шипит кот, – ужассс!

– А мне сдается, – говорю, – что мы тут все собрались для того, чтобы разрешить его участь раз и навсегда. Не даром оно все так совпало. Уж не знаю, как, но верю, что пришел его час, господина этого ученого! А посему делай, как он говорит, и поглядим, что из этого получится.

А молнии так и лупят, и у кота уже вся шерстка дыбом и искры проскакивают.

– А ты? – говорит котишка, сверкая глазищами.

– А я, пожалуй, кол возьму покрепче. Господь помогает тому, кто сам себе помогает.

Ни оружия у него не было на стенах, ни деревяшек во дворе. Ученый человек, одно слово. Так что взял я кочергу у камина и боком-боком вниз спустился. Как раз вовремя, – котишка, видно, дотасил на башню этот самый «провод»; потому что в погребе все голубым светом озарилось, по столбу пробежали огненные вспышки, и вижу я, тело в захватах начинает шевелиться.

Как же мне, братцы, страшно стало!

А старикашка-людоед подпрыгивает, словно и в него небесный огонь бьет, руки потирает.

– Вот, – кричит, – подруга моя, в которую я вдохнул жизнь своим искусством и знаниями. Вот, берегись природа, ибо я силой вырвал у тебя то, что другие вымаливают понапрасну! Нет, говорит, таких темных областей, – говорит, – которые бы наука не могла пронзить своим сияющим светом. Чего стоишь, – это уже мне, – разводи скобы.

– Господин, – говорю, – ты бы уж лучше сам...

– Я должен вести наблюдение, – отвечает он важно, – и записывать все в дневник.

Я перекрестился и приблизился к столбу. Только за скобу взялся, оно голову подняло и глянуло на меня своими белыми глазами. И такая мука была в этом взгляде, что у меня даже страх на миг прошел.

– Сейчас, – говорю, – госпожа моя. Потерпи.

И разъял скобы, одну за другой.

Оно стоит, пошатывается, медленно головой поводит.

Учуяло его. Обернулось к нему, сделало шаг и застыло.

А он, людоед, стоит у конторки и в тетрадку что-то быстро-быстро пишет. Потом отбросил перо, шагнул к ней.

– Добро пожаловать, моя дорогая супруга! – говорит он, и протягивает ей руку, чтобы, значит, ввести ее в эту юдоль скорби.

И оно протянуло к нему обе руки. И как схватит за шею.

Что говорить?

Я ей мешать не стал.

Уж не знаю, было ли оно человеком, только сам он давно уж им не был. Не может бессмертная душа так низко пасть. Значит, он ее потерял где-то, во время своих опытов.

Он на пол повалился, захрипел и умер. И тут иссяк жизненный импульс у его творения. Глянуло оно на меня, на пол повалилось и застыло – и на высохшем лице вроде как улыбка довольная.... Или гримаса, кто его знает?

Тут клубок мохнатый, разбрасывая искры, скатился пол лестнице. Я его поймал за шкуру; все, говорю, кранты людоеду, давай, беги, зови ребятишек в помощь, да пускай прихватят хоть чего из еды и убранства, тут ничего нет кроме пыли...

Что тут говорить? Похоронили бедняжку эту по христиански, а людоеду кол осиновый меж ребер – а то ну как он и в могиле не успокоится? Залу в порядок привели, все инструменты чернокнижные во дворе сложили и сожгли, пыль вымели, огонь разожгли в очаге, пауков повыгоняли... Котишка важный ходит, командует.

– Вы, – говорю, – были люди вольные, а теперь дружина маркиза Карабаса! А потому веселитесь, гуляйте и меня не забывайте! Крыша над головой есть, а золото наживете!

А тут гляжу, карета едет – шестерка лошадей вороных, ох, красавцы, и лакеи на запятках, и гербы на дверцах...

– Встречай, – говорю, – хозяина. Только это... ты уж ему не рассказывай ничего про людоеда, он же тут с молодой женой жить будет... Ты лучше скажи, что ты его, людоеда, съел!

Он фыркает, усы лапкой расправляет.

– Кот, – говорю, – в доме к счастью. А я пошел. Где там моя Салли?

– Мы ее к козам поставили, – говорит старшой, – чтобы дождик не мочил, ветер не хлестал! И куда ты пойдешь, а, средний брат? Дорогу-то вон как развезло.

– Осел не лошадь, – говорю, – везде пройдет!

И пока карета въезжала в ворота, мы с Салли тихонько вышли через задний двор. Нахлобучил я на нее шляпку поплотнее, чтобы дождь не хлестал, закутался в плащ потеплее, и пошли мы с ней дальше. Жан счастье свое, вроде бы нашел, а я-то нет.

* * *

Идем мы, значит, идем... Гроза прошла, тучи разошлись и видно, как солнце заходит за синим лесом... И на востоке уже звезды проглядывают, такие ясные, будто умытые... Вот интересно, как они к небесному своду крепятся? Думаю, не очень прочно, потому что время от времени ведь падают...

Салли травку по обочине щиплет, а я ж не травоядный – живот подвело, сил нет.

– Эх, Салли, может, поторопились мы? Посидели бы на кухне, глядишь, нам бы чего и перепало!

Салли фыркнула и дальше себе семенит, ей-то что.

– Нет, – говорю, – давай свернем-ка в лес, пока не стемнело. Наверняка малинник где-нибудь поблизости на вырубке, или земляника в овражке. Говорят знающие люди, в земле растут такие грибы, называются трюфели, вкусные, сил нет, так вот, Салли, тебе сроду их не найти, потому как ты не свинья, а на них свиней натаскивают.

Чуть мы только в лес углубились, как и правда стало темнеть, и стемнело быстро. Какой там малинник!

Я только и успел оглядеться; вроде замок какой-то виднеется, но вдалеке и за деревьями – не видать ничего. У нас замков кругом, как я уже говорил, что грибов, но в третий раз что-то счастья пытать не хочется, особенно на ночь глядя.

Так что я подыскал дерево пораскидистой, устроился меж корней, плащ под голову подложил, а Салли рядом привязал, чтобы, значит, не ушла далеко.

И уснул.

Говорят, когда под деревом спишь, могут произойти с человеком всякие неприятности. Кипарисы, например, высасывают разум. Засыпает человек умным, а просыпается полным идиотом. Но мне это, честно говоря не грозит.

Еще в деревьях живут лесные девы. И ежели ты такой понравишься, она может тебя зачаровать. Тебе вроде бы снится, что ты сидишь на подушках в зеленом дворце, играешь с прекрасной зеленовласой девой в любовную игру... Такой хороший сон, что и просыпаться не хочется. А на самом деле заморочила тебя нечисть, запутала, силушку выпила... Приходит такой в себя, а он уже не бравый молодец, а как бы с виду старец столетний – всю его жизненную силу нечисть к рукам прибрала.

Хоть бы лесная дева приснилась, не так обидно было бы. Но я, братцы, так намахался, – сначала с одним чернокнижником, потом с другим, – что даже и снов не видел. Только глаза закрыл, и сразу заснул. А как открыл их, лучи солнечные падают почти отвесно сквозь листву, птицы в ветвях возятся, а вот Салли рядом нет.

Свели ее, не иначе! Или волк утащил, бедную мою Салли. Я чуть не заплакал с досады.

Но, порассудив и оглядевшись, увидел, что уздечка ее на земле валяется. То есть, стояла Салли, стояла, потом надоело ей это, она головой помотала, уздечку скинула и пошла куда-то по своим ослиным делам. А какие у ослов могут быть дела? Глупости одни!

И я дурак, плохо, видать, в темноте ее привязал.

Кусты в одном месте были слегка примяты, видно, она туда и нырнула. Я следом. Получается так, что убежала моя Салли прямо в чащу леса, туда, где за густыми зарослями вчера я замок увидел. А кто у нас в замках сидит? Чернокнижники и людоеды, понятное дело. Разве ж они осла пожалеют...

Я руки ковшиком сложил.

– Салли! – крикнул, – Салли!

И слышу из-за дерева недовольное:

– Чего орешь?

Гляжу, девчонка выходит, шустрая такая, лет десяти, на голове красная шапочка, в руках корзинка. Будете смеяться, братцы, я подумал поначалу, что моя Салли в девчонку превратилась. Говорят же, бывают такие случаи.

Потом гляжу, в корзинке вроде пирожки салфеточкой прикрыты. Если бы Салли превратилась, откуда бы она пирожки взяла? Нет, думаю, Салли где-то там, в лесу, а девчонка тоже в лесу, но сама по себе.

– И что ты, – спрашиваю, – ходишь одна-одинешенька?

Она нос рукавом вытерла, говорит:

– А чего?

– Не страшно? Лес все-таки.

– А чего мне бояться? Деревьев?

– Ну, разбойников там... Волков...

– Ох, насмешил, – говорит.

– Вон там я какой-то замок видел. Там наверняка колдун живет.

– Никто там не живет, – говорит она, – знаю я этот замок.

– Так ты, выходит, местная.

Девка как девка, на вилию уж никак не похожа... Вилий с таким сопливым носом не бывает.

– Ты куда это собралась?

– К бабушке, – она говорит, – она одна в лесу живет, в избушке. Она заболела, я ей пирожки несу.

– Откуда ты знаешь, что она заболела?

– А маме приснилось.

Так, думаю, мама умом похвастаться не может. И бабушка тоже, раз живет в лесу, в избушке, одна-одинешенька.

Хотя...

– А скажи-ка, деточка, твоя бабушка колдовать умеет?

– Еще как! – оживилась Красная Шапочка, – она вообще ведьма. Думаешь, почему тот замок пустой? Это она его заколдовала сто лет назад!

– Целый замок?

– Ага!

– Сколько же твоей бабке лет?

– Пятьсот. Вот!

– Ну и горазда же ты врать, – говорю, – послушай, ты ослика не видела случаем? Маленький такой ослик, в шляпке.

– Это твой?

– Ага. Мой ослик. Салли.

Он там, в шиповнике, – говорит она, – я тоже хотела его поймать, но там колючки... А зачем он в шляпке?

– Чтобы солнце голову не припекало. Вот ты зачем в шляпке?

– Я-то для красоты.

– Ну, – говорю, – мы за красотой не гонимся. Угостишь пирожком, а?

– Да пожалуйста, – она отворачивает уголок салфетки и подает мне пирожок, – Это с капустой. А тот с ягодами. Ты какой хочешь?

– Оба.

Она задумалась.

– Пожалуй, я тоже поем, – говорит, устраивается на бревне, пристраивает корзинку рядом, и берет пирожок, – а бабушке скажу, что волк напал. И все съел!!!

– А ты волка не боишься?

– Взаправду? Нет. Бабка тут на всех страху нагнала. Волки эти места десятой дорогой обходят. Ну ладно, пару пирожков я ей оставляю все-таки. И малины соберу. А то еще разозлится, в лягушку превратит. А ты в тот замок не ходи.

– Это почему?

– Я ж говорю, заколдовано там, – говорит она с набитым ртом.

– Но там же мой ослик!

– Подумаешь, ослик!

– Это тебе подумаешь...

Иногда дети говорят и вытворяют такие жестокие вещи, что диву даешься. А все потому, что дети на самом деле добра от зла не отличают, хотя большинство добрых людей думает наоборот; что, мол, человек рождается с чистой душой, а потом она в процессе жизни постепенно портится, вроде как сыр или масло, а я так полагаю – человек растет, и душа с ним растет, а у детей она еще маленькая...

И ведьмы я думаю, что дети – у них душа так и остается маленькой, не вырастает, вот они добро со злом и путают. Всем известно, что ведьмы злопамятны, и мстительны, и обижаются-то на всякую ерунду, а воздают за обиду так, что мало не покажется.

– И все-таки, – говорю, – нехорошо, что ты одна по лесу шастаешь. Тут неподалеку один людоед жил. До вчерашнего дня. А ну как забрал бы тебя на опыты!

Она задумалась.

– Мне и самой надоело. Она меня все время гоняет. Самой лень, вот меня и гоняет. Я, пожалуй, ей расскажу, что бабушку волк съел, – говорит она, – и меня тоже. А потом пришли лесорубы, разрубили волку живот, и нас выпустили.

– Ерунда. Так только в сказках бывает.

– Она поверит. Всему верит, прям как маленькая. Ну ладно, я пошла. Все-таки отнесу бабке пару пирожков, а она мне за это волшебную травку покажет. Ей кого хошь приворожить можно, ага. Только надо в полночь собирать, когда роса сойдет, и сова ухнет...

– Рано еще тебе.

– И вовсе не рано. В самый раз. Бабка мне обещала все свои секреты передать, потому что с мамой, она говорит, ей трудно работать, у нее в одно ухо влетает, в другое вылетает. И ругаются они все время. Тебе еще пирожок дать?

– Давай, – говорю, – ладно, я побежал. Если что, зови.

– Да что со мной сделается, меня тут все боятся, – отмахнулась она, опять нос рукавом утерла и пошла своей дорогой. А я, значит, за Салли.

Ослы, видите ли, устроены очень толково. Они любую колючку переварят, через любые заросли прoderутся. Что им какой-то шиповник! А я, пока лез, все руки ободрал.

Гляжу, передо мной и впрямь замок. Только какой-то очень уж запущенный. Во-первых, ни двора, ни ворот, все травой поросло и кустарником, во вторых, окна все плющом увиты.

И на лужайке перед входом стоит Салли, раздраженно обмахиваясь хвостом, и жует розанчик на кусте шиповника. Шляпка на бок съехала.

– Что ж ты, – говорю, – дурочка!

Еще повезло, что целую невредимую нашел ее, спасибо этой Шапке.

– Куда ты забралась? Опять замок? Хватит с меня замков.

А сам стараюсь в распахнутую дверь заглянуть – вроде как в замке темным-темно, потому как плющ на окнах...

Шапка эта говорила, что замок заколдован, но Шапка, как я понял, вообще приврать здорова, есть такие особы, ни слова правды от них не добьешься. Травка приворотная, надо же!

Алчность смертный грех, но я ж не то, чтобы обобрать хотел кого... Мне бы пару монет отыскать, или там, серебряный кубок, чтобы обменять его в трактире на сытный обед... мало ли что в пустом замке найти можно!

Я Салли привязал покрепче, перекрестился и шагнул внутрь.

Поначалу я думал, на полу ковер, потом понял, пыль... Может, ковер там тоже был когда-то, но давно истлел.

На стене ржавое оружие висит, алебарды, пики перекрещенные... герб какой-то паутиной весь затянут...

Ох, думаю, неладно дело-то. Замки у нас просто так не оставляют – один владелец уйдет, другой въедет, а тут за сто лет никто не озаботился поселиться, пыль подмести...

Может, не так уж она врала, Шапка-то?

Факел торчал на стене, я его снял, зажег – он вспыхнул, ну прямо как солома... Тени по потолку, точно летучие мыши, мечутся. Пустая зала, а посередине вроде как стол стоит.

Подошел ближе – никакой это не стол. Здоровенное дубовое ложе, и на нем, вся в белом, спит девица. Причем, что характерно, все в замке стнило, а она цела-целехонька, и даже, вроде, дышит. Или это у меня факел в руке дрожит?

Молоденькая совсем, хотя, наверное, лет сто тут пролежала, свеженькая...

Я ее даже целовать не собирался, вот те крест! Просто хотел проверить, есть ли дыхание.

В общем, она хлоп! И открыла глаза.

– Ты кто? – говорит.

– Рене, сударыня.

Она протягивает свои белые руки, берет меня за ворот, притягивает к себе, и целует. При этом платье ее истлевшее расплывается и видно, что девица беленькая, пухленькая и весьма привлекательная.

– Ах, – говорит она, переведя дух, – не иначе мне это снится.

– Напротив, сударыня, – говорю я вежливо, – вы спали волшебным сном, а теперь проснулись. Нечаянно я вас разбудил, но, коль разбудил, полагаю, надо бы вам подняться. Обопритесь на мою руку!

Она встает, несколько неуверенно, поскольку еще не обвыкла, и я на всякий случай отворачиваюсь, потому что вместо платья на ней одни лохмотья. Снимаю с себя куртку, накидываю ей на плечи. А сам думаю: «еще разжиться тут каким добром надеялся, дурак! Тут не то, что разбогатеешь, последнее отнимут».

– Ничего не понимаю, – говорит девица, – где все? Где слуги? Где маман и папа? Почему темно так?

– Заколдовали вас, сударыня, – говорю, – наверное, вы с какой-нибудь здешней ведьмой не поладили...

– А, – говорит она, наморщив лобик, – было дело, одна уродливая старушенция все просилась, чтобы ее на праздник пустили. Но я велела не пускать. Я люблю, чтобы меня все красивое окружало. Говорят, она, когда выходила, через правое плечо плюнула и три раза обернулась вокруг своей тени!

– Вот, – говорю, – оно самое. А как следствие, вы, сударыня, проспали нетронутая, лет сто не меньше...

– И меня должен спасти прекрасный принц? – говорит она с надеждой в голосе.

Я что, похож на принца?

– Самое разумное, – говорю, – лечь обратно на ложе и подождать принца. Только я бы на вашем месте сначала поел что-нибудь.

– Лучше куропатку с трюфелями, – говорит девица, хлопая ресницами.

– С этим придется подождать. Поищу чего-нибудь в саду, – отвечаю, – там, вроде, какая-то дичка была... и малина разрослась. Вы бы пока прибрали там, в замке, что ли? Принц придет, а там пылица в ладонь толщиной, негоже это!

– Я очень устала, – томно говорит принцесса, и усаживается на ложе.

– Еще бы, – говорю, – столько спать! Вы походите, сударыня, разомнитесь, поглядите на Божий мир, вон, солнышко взошло!

– Слишком ярко для моих глаз, – говорит она, – а принц вообще когда придет?

– Понятия не имею, сударыня!

– Может, – говорит она с надеждой, – я еще поплю?

И тут я слышу, трубят рога над лесом...

Голоса, смех, треск кругом стоит, словно целая компания прорубается сквозь заросли – я-то прошел и ничего, только поцарапался слегка, но он же принц!

Сильный, красивый, на белом коне. Свита впереди бежит, дорогу расчищает.

– Оп-па! – говорю, – вот и принц!

Она так и заметалась, бедняга.

– Что же делать, – говорит, – что же делать! Я не одета! Сажу тут на крыльце, неизвестно с кем, неизвестно зачем! И вообще, что он подумает?

– На вашем месте, – говорю, – я бы тихонько лег на ложе, глаза закрыл... А когда принц вас увидит, он, очарованный вашей красотой, конечно, поцелует вас, и вы его вознаградите соответственно. А я пойду, пожалуй.

Она швырк – и в замок... Даже спасибо не сказала.

Салли отвязал, и в кусты! А куртку не стал обратно требовать, ну ее в самом деле!

Родитель мой, царство ему небесное, рассказывал, что знал одну семью, там девица от какого-то потрясения заснула так крепко, что ее двадцать лет добудиться не могли. А когда проснулась, тоже была молоденькая и свеженькая. Первые два дня. Потом как-то быстро постарела и стала выглядеть на все восемьдесят. Папаша говорил, время обмануть нельзя, оно само кого хошь обманет.

* * *

И вот, идем мы с Салли по белой дороге. Двух чернокнижников одолели, принцессу разбудили, ни гроша у меня в кармане... Трактирщица, думаю, славная была, может, вернуться? А может, еще кто впереди встретится, нам с Салли торопиться некуда, все нас обгоняют – и господа на горячих конях, и гонцы королевские, и кареты...

Нет, одного догнали. Пешего. Идет, на посох опирается.

– Бог помощь, – говорю, – добрый старец.

– И тебе, – отвечает.

– Откуда и куда путь держишь? – спрашиваю.

– Из самого Ерусалима, – говорит, – ходил поклониться Гробу Господню. Видишь вот, раковина-жемчужница? Ее носят все, кто удостоился этой великой чести. Потому как я пилигрим, и странствую во славу Господа. А иду я в Лурд, к святому источнику...

– А я просто так иду, – говорю, – тоже странствую, но без цели и назначения. И ежели тебе тяжело, может, моя Салли тебя подвезет немного? Она девица хрупкая, да вроде и ты не тяжелый.

– Славный у тебя ослик, – говорит пилигрим, – видишь, у него черная полоска на спине, а на холке вроде бы поперек такая же – эдак, крестом... Это знак того, что кто-то из его предков возил на своей спине Христа, так что роду он у тебя весьма почтенного. Таким осликом можно гордиться. А почему его Салли зовут?

– Папаша мой, – отвечаю, – который и завещал мне заботиться об этом ослике, в молодости своей воевал в Великой Британии, наемником. И вообще, пока мельником не стал, был он человеком горячим, храбрым и любвеобильным. И была там одна Салли... Он говорил, у нее такие же глаза были... Ну, почти такие же. Потому как с этой Салли никто сравниться не может. Вы поглядите, какие ресницы! Жаль только, что она не говорит!

– Ослы говорят только в исключительных случаях, – говорит пилигрим, – и этим отличаются от, скажем, котов... И видят порой такое, что недоступно взору их хозяина. Ты про Валаама слыхал?

– А как же, – говорю, – и про его ослика. Интересно, не Салли ее часом звали?

– Сие, – говорит старец, – священная книга не сохранила.

– А жаль...

– Да, – согласился старец, – Жаль. Однако, вот, коль скоро ослик твой не говорит, хотел бы я услышать от тебя какие-нибудь разумные и рассудительные речи. Так и путь короче будет.

– Я средний брат, – говорю, – какие уж тут разумные речи! Дурень я, как есть, дурень... То есть, ни то, ни се...

– Иными словами, простак, – замечает старец, – про которого в Писании говорится. А вот что бы я хотел услышать, простая твоя душа, с пользой ли провел ты время в странствиях?

– Не знаю, отче. Я убил рыцаря и людоеда, уговорил шайку разбойников поступить на службу, три раза чуть не женился – один раз на трактирщице, второй на маркизе, а третий на принцессе... Невелика польза. Вот, иду вместе с Салли, в карманах ни гроша, да и карманов-то нет, поскольку куртку свою оставил я в одном заколдованном замке, брюхо подвело, поскольку с утра я всего лишь два пирожка съел... нет, вру, три.

– Это поправимо, – говорит пилигрим, – у меня в котомке сыр и хлеб, и медовые соты... Однако ж скажи, чего ты ищешь, коли до сих пор не успокоился?

– Не знаю, – отвечаю. – Вот, хотел Божий мир поглядеть. Как и чем звезды к небу крепятся? Отчего Солнце вокруг земли ходит? Отчего в тучах порой небесный огонь полыхает? Ведь как удивительно мир устроен! Это ж не захочешь, а залюбуешься. А более всего, отче, хотел бы я узреть Чудо! Ведь как без чудес тошно жить нам, тут на земле... Раньше, говорят, чудеса на каждом шагу были, вот ты сам сказал, Валаам, да и другие, кто по этой земле ходил... А теперь что?

– Чудо, – говорит старец, – само выбирает, кому показаться. Это тебе не кот говорящий. Что ж, простая твоя душа, ежели со мной в Лурд пойдешь, может и сподобит нас Господь увидеть Чудо! Ибо я тоже всю свою жизнь Чуда взыскую, да, видать, не заслужил. А вообще, – говорит, – Божий мир сам по себе Чудо, пойдем, разглядим его получше.

– Пойдем, отче, – говорю, – ну их, этих людоедов и чернокнижников... хочу на людей посмотреть... и знаешь что? Все-таки я думаю, что ту ослицу тоже Салли звали!

– Поскольку имя ослицы, как мы уже установили, затерялось в анналах, – говорит старец, – то и такая возможность не исключена. Давай-ка обсудим этот вопрос по дороге...

Тимофей Алёшкин

Сражение у Стеклянного Шкафа

(в гостиной Штальбаумов) 24 декабря 18.. года

*Наши историки всегда поддаются искушению за отсутствием
годного материала пускать в ход негодный.*

Ганс Дельбрюк, «История военного искусства»

Введение

Интереснейшие воспоминания, оставленные очевидцем сражения и дошедшие до нас в пересказе одного немецкого писателя¹, до сих пор оставались обойденными вниманием военно-исторической науки. Настоящими заметками, в которых впервые, насколько нам известно, делается попытка составить правдивое историческое описание битвы, мы надеемся привлечь интерес научной общественности к этому незаслуженно забытому событию европейской военной истории XIX века.

Автор хорошо осознаёт, насколько ограничивает находящийся в его распоряжении материал возможность воссоздания настоящей исторической картины сражения. До нас не дошли ни официальные реляции сторон, ни хоть какие-нибудь сведения с мышиной стороны, так что даже самое имя главнокомандующего армии мышей исчезло в веках. Наш единственный источник, девица Мари Штальбаум, человек, несомненно, наблюдательный и остроумный, к сожалению, однако, была совершенно несведуща в военном деле.

Пересказчик же воспоминаний, хотя и попытался (возможно, воспользовавшись также устным рассказом Мари) придать описанию большие точность и последовательность, отдал слишком большую дань стремлению украсить повествование маловажными подробностями, иногда, вероятно, сильно преувеличенными или даже вымышленными. Но даже при всём этом нам кажется возможным на основании рассказа Гофмана выполнить поставленную задачу.

Политическая ситуация

Начавшийся из-за мелкого конфликта по поводу экспорта сала спор между Нюрнбергским королевством и королевством Мышляндия постепенно перерос в затяжную династическую вражду между правящими домами двух государств². При жизни старой королевы Мышильды Мышляндия, потерпевшая поражение от Нюрнберга в быстротечной войне, в которой погибли семь принцев – сыновей Мышильды³, и потерявшая по условиям мирного договора значительную часть своей территории⁴, вынуждена была на время отказаться от военного реванша. Мышильда удачно интриговала против королевского дома Нюрнберга и занималась внутренними делами королевства. Своего последнего сына, известного в истории как Мышинный Король, она воспитала как мстителя за погибших братьев и соплеменников.

¹ Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышинный Король», любое издание.

² Дома эти состояли в родстве между собой.

³ Мышляндия оказалась совершенно неготовой к войне. В описании Гофмана дело вообще представлено как резня беззащитных мышей, не оказывавших сопротивления («... а затем их предали на кухне позорной казни...»).

⁴ Врагам досталась даже столица мышиного королевства (ср. у Гофмана: «Мышильда с небольшой кучкой уцелевших родичей покинула эти места скорби и слёз.»).

Мышиный Король оказался достоин выпавшего ему жребия. Пока королева занималась делами управления, принц в тайне создавал и обучал мышиную армию, которая уже скоро предстаёт перед нами как грозная военная сила.

Мышильда погибла, когда для каких-то своих целей инкогнито прибыла в Нюрнберг, во дворец. Королеву убил молодой Дроссельмейер (имени его мы не знаем), позднее получивший прозвище Щелкунчик, принадлежавший к могущественному аристократическому семейству, одной из опор трона⁵. Сразу же после убийства он был формально сослан из столицы, но в то же время получил королевский сан и престол Кукольного королевства – небольшого зависимого от Нюрнберга государства, лежащего между Нюрнбергом и Мышляндией.

Убийство королевы Мышляндии при дворе Нюрнберга, к тому же в подобных обстоятельствах, являлось *casus belli*.

Вместо извинений и выдачи убийцы королевы в Мышляндию, – того фактически наградили и сделали сувереном, что делало его личность неприкосновенной и исключало выдачу. Вероятно, в Нюрнберге рассчитывали, что молодой король Мышляндии не решится начать войну и вынужден будет молча стерпеть оскорбление и удовольствоваться формальными извинениями.

Но не таков был Мышиный Король. Для него пришёл наконец долгожданный день, когда затаённый гнев и жажда так долго подготавливаемой мести получили законный повод к удовлетворению – и какой повод! В своём сыновнем горе он не мог выбрать другой цели первого удара, кроме Кукольного королевства, где правил убийца его матери, молодой Дроссельмейер. Можно представить, как он мечтал по-рыцарски, лицом к лицу, встретить своего врага в битве. Его мечте суждено было сбыться на поле у Стеклянного Шкафа.

Стратегическое положение и оперативные планы

Граница Кукольного королевства проходит через дом Штальбаумов. Самый короткий, хотя и не самый удобный путь в королевство – узкий проход через рукав лисьей шубы, что висит у дверцы платяного шкафа в передней дома. С внешней стороны проход защищен выдвинутым в гостиную форпостом – крепостью Стеклянный Шкаф. У внутреннего выхода из рукава в главные области страны, однако, держат только самый слабый дозор⁶, и таким образом для того, кто минует дефиле открывается прямой путь на главные города королевства – Конфетенхаузен и столицу, Конфетенбург.

Замысел Мышиного Короля предполагал быстрый разгром и выведение из войны Кукольного королевства. Решительно и удачно проведенная, эта кампания должна была оказать сильное действие на других вассалов Нюрнбергского короля – Бумажное и Шоколадное королевства, так что эти последние скорее всего остереглись доставить помощь своему покровителю или во всяком случае скоро повели дело к миру, таким образом мыши остались бы наедине со своим главным противником.

Быстрота и неожиданность занимали главное место в плане Мышиного Короля. Во главе отборных частей мышинной армии он должен был внезапно подступить к Стеклянному Шкафу и запретить частью сил в осаду находящийся там корпус.

Быстрый переход остальной армии через рукав шубы открывал Королю дорогу на Конфетенбург, который при должной внезапности и силе нападения не замедлил бы пасть. После этого у отрезанного в Шкафу от собственной страны корпуса и других кукольных частей, сто-

⁵ Его дядя, Христиан-Элиас Дроссельмейер, был победителем в первой войне против Мышляндии и организатором последовавшей затем резни мышей.

⁶ Даже в самый решительный момент войны Миндально-Изюмные ворота, укрепление у внутреннего выхода из дефиле, охранялось, по свидетельству Мари Штальбаум, только шестью музыкантами из военного оркестра.

ящих на границах, разделенных и лишенных единого командования, не оставалось другого выхода кроме капитуляции.

В соответствии с планом, не дожидаясь окончания траурных церемоний по матери, Мышинный Король с лучшими полками своей армии скрытно форсированным маршем выступил к Стеклянному Шкафу.

Планы мышей, однако, не остались тайной для Дроссельмейеров. Старшему Дроссельмейеру, находившемуся при Нюрнбергском дворе лазутчики доставили сведения о выступлении мышинной армии, о чём он не замедлил сообщить племяннику. Король молодой Дроссельмейер принял командование над армией и отдал приказ собрать главные силы армии королевства на границе с Мышляндией, в Стеклянном Шкафу, а вскоре и сам отправился в крепость⁷.

Сражение. Общие замечания

СИЛЫ СТОРОН. О силах обеих армий мы решительно ничего не можем сказать. Наш источник совершенно обошёл вниманием этот вопрос, всегда предпочитая точным цифрам цветистые но пустые эпитеты вроде «бесчисленных полчищ». В обеих армиях называются полки, батальоны и батареи, но даже о нормальном их составе для каждой из сторон никаких сведений нет. Можно только утверждать с уверенностью, что численность кукольной армии была не меньшей, чем мышинной. Этот вывод мы делаем на основании замечания, что при равном размене потерь с обеих сторон мыши «извлекли мало выгоды из этого злодеяния», то есть, в переводе с поэтического языка источника, выгоды не извлекли, следовательно, их было либо меньше, либо столько же, сколько кукол. Это сравнение едва ли выдуманно – слишком много спокойствия и холодного расчёта слышится в нём – скорее всего оно передаёт какие-то слова из разговора, случайно услышанного Мари в свите Щелкунчика.

ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ. Собственно крепость Стекланный Шкаф представляет собой шкаф с несколькими полками. Спуск с первой полки по счёту снизу на пол и подъём обратно представляют некоторые затруднения для пехоты, конница проделывает их свободно. Вторая полка находится на высоте двух футов над первой, спуск с неё и подъём вверх осуществляется по инженерным сооружениям, но при необходимости можно спуститься на первую полку простым прыжком, как это сделали Щелкунчик и его генералы в начале сражения. Шкаф стоит налево от двери в гостиную.

Поле перед шкафом представляет широкую гладкую равнину. В центре её находится возвышение – мамина скамеечка для ног, которая командует над окружающей местностью. Слева вдоль стены расположен комод, под ним имеется известное свободное пространство.

Крепость, особенно вторая её полка, прекрасно приспособлена для обороны и не может быть взята без длительной осады и предварительных инженерных работ. Первая полка шкафа представляет собой, благодаря возвышению над полом, хорошую оборонительную позицию, не непреодолимую, впрочем, для решительной атаки. Поле перед шкафом даёт обороняющемуся единственное преимущество в виде господствующей над ним скамеечки для ног, однако для защиты левого фланга опасность представляет комод, под которым наступающий может сосредоточить войска для атаки, вне опасности от огня артиллерии противника.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ. К началу первого часа 25 декабря мышинная армия в походных колоннах вышла из подземных тоннелей в гостиную Штальбаумов,

⁷ 24 декабря, по странному совпадению накануне подхода армии мышей к крепости, сосредоточение сил завершилось. В это день в Стекланный Шкаф прибыл молодой король Дроссельмейер и гвардейский гусарский полк.

справа от двери, и начала развертывание к сражению. В авангарде двигались пехотные части, среди них первыми, как можно установить из одного места у Гофмана, шли егеря⁸. Артиллерия и другая часть пехоты следовали в центре походного порядка, конница составляла арьергард. О таком порядке мы делаем заключение из того, в какой последовательности вступали в сражение части мышиной армии – можно считать твердо установленным, что артиллерия не участвовала в завязывании боя, а кавалерия смогла вступить в сражение уже только в самый его решительный момент.

Армия молодого Дроссельмейера в ночь с 24 на 25 декабря стояла лагерем в крепости. На второй полке шкафа располагались главные силы армии и сам командующий со своим штабом, на первой – вспомогательные части и артиллерийский парк. Об этом мы узнаем у Гофмана, когда при развертывании войск 25 декабря он описывает, как пехота и кавалерия прыгали вниз со второй полки, пушки же с артиллеристами были просто выкачены на поле: значит, они стояли на первой полке.

ПЛАНЫ СТОРОН. Оперативный план Мышиного Короля, как мы уже говорили выше, состоял в оттеснении неприятельских сил в Стекланный Шкаф и блокаде их в крепости. Поскольку на полную внезапность нападения, такую, что вражеская армия не успеет выйти из крепости чтобы дать бой, рассчитывать при нападении на пограничную крепость безрассудно, успех операции должен был быть достигнут в сражении, если молодой Дроссельмейер имел бы решимость встретить мышиную армию в поле. Момент неожиданности нападения сохранял однако своё значение в том, что при должной быстроте действий мышам представлялась возможность броситься на неприятеля до полного развертывания его порядков, и на этом Мышиный Король построил свой смелый замысел.

В авангарде походной колонны он поставил полки егерей и стрелков. Авангард должен был выдвинуться в поле, развернуться в боевой порядок и, не дожидаясь подхода

остальных сил, нанести быстрый удар по кукольному войску в поле, отбросив его по крайней мере до первой полки шкафа, а если удастся, развить наступление на плечах отступающего противника и на полку. Там его усилия будут поддержаны подошедшими артиллерией и конницей, и объединенными силами они превратят первый успех в победу. Но почему Мышиный Король не поставил в авангард наиболее подходящие для быстрой атаки войска – кавалерию? Ведь конница могла бы и скорее атаковать, и успешнее преследовать отступающих.

При внимательном рассмотрении оказывается, что этих качеств было недостаточно для выполнения замысла Мышиного Короля. Особенности действий кавалерии как рода войск таковы, что ее нападение на вражескую пехоту может равным образом окончиться и успехом, и неудачей, причем исход полностью зависит от выучки и моральной стойкости пехоты.

Даже когда атака удачна и неприятель обратился в бегство, победа не может быть закреплена без помощи пехоты, а кавалерия при преследовании бегущих обыкновенно расстраивает порядки и легко обращается вспять даже небольшим решительным вражеским отрядом. Мышиному королю же требовался здесь пусть не столь скорый, но прочный успех, который только и мог быть достигнут и, в случае контратаки врага, удержан зубами пехоты.

Инициатива в начавшейся войне находилась полностью на стороне мышей, и король молодой Дроссельмейер не мог, конечно, планировать ни наступательной кампании, ни даже наступательного сражения; его главной целью было защитить границы королевства до подхода помощи от союзников. Однако, собрав значительные силы в Стекланном Шкафу он при подходе мышиной армии мог, по крайней мере, не запирается в осаду, а дать сражение неприятелю

⁸ В разгар битвы мы видим егерей в первых рядах наступающих мышиных войск, посреди рукопашной схватки. Такое использование легких войск на месте линейных довольно необычно и может быть объяснено тем, что с начала сражения егерские полки находились в первой линии боевого порядка, откуда не были уведены впоследствии по какой-то причине. Назначение же егерей для прикрытия головы походной колонны и организации передового дозора как раз совершенно обычно.

с тем, чтобы в случае удачи отразить вражеское нашествие, и при любом исходе попытаться удержать предполье в гостинной и сохранить свободный выход из крепости для своей армии чтобы стеснить дальнейшие движения неприятеля.

Главной целью сражения по плану молодого Дроссельмейера было, таким образом, удержание первой полки шкафа. При появлении мышей войска должны были выйти из лагеря (для обеспечения быстроты развертывания артиллерия была заблаговременно расквартирована внизу) и выстроиться в две линии – первая на полу перед шкафом, заняв в центре позиции мамину скамеечку для ног, вторая на первой полке шкафа. Вторая линия должна была служить для первой источником подкреплений, а при необходимости первая линия могла бы отойти на позиции второй. План был составлен командующим и высшим генералитетом 24 декабря, в самый день прибытия короля в крепость самых общих чертах, составление подробной диспозиции было отнесено на следующий день.

Ход сражения

НАЧАЛО. Приведенные у Гофмана сведения о времени начала и конца сражения весьма противоречивы⁹ и не могут быть при нынешней изученности вопроса удовлетворительно согласованы. Мы здесь принимаем за время начала битвы пятнадцать минут первого 25 декабря, что согласуется с нашим основным источником – Мари Штальбаум, оставляя вопрос для полного прояснения будущим поколениям исследователей.

Тотчас после того, как часы пробили двенадцать, колонны авангарда мышинной армии через щели в полу вышли на поле в правой от двери части гостинной Штальбаумов и начали построение в боевую линию. Через пятнадцать минут мыши выстроились в боевой порядок, приблизительно в это же время на поле появился Мышинный Король и взял общее командование над войсками. Неожиданностью для мышей было наличие на полу перед шкафом маминной скамеечки для ног, но Король продолжил действовать в соответствии с планом, сочтя, вероятно, это новое препятствие преодолимым для его егерей. Первым приказом он двинул полки в атаку. Беглым шагом, без единого выстрела мыши пересекли комнату и напали на кукольную линию.

На Мари Штальбаум произвела большое впечатление эта череда быстрых, четких и решительных действий, надо полагать, были впечатлены, хотя и не столь сильно, и воины Щелкунчика.

Совсем не так начали дело кукольные войска. Еще до появления мышей на полу гостинной, пока часы били двенадцать, в крепости была сыграна тревога¹⁰. Большим затруднением для армии стало отсутствие диспозиции сражения. Офицеры не знали, куда им следует вывести солдат, и молодому Дроссельмейеру пришлось спешно спуститься с генералами на первую полку и там разделить командование и составить импровизированный *ordre de bataille*. Командиром кавалерии, выделенной в самостоятельный корпус, был назначен Панталоне, вторую линию возглавил Паяц, сам Щелкунчик принял командование над первой линией.

Ни о каком отборе полков в первую и вторую линии не могло быть и речи, навстречу мышам спешно направляли части, первыми приведенные в готовность. Ближе всего оказалась артиллерия, стоявшая на первой полке, тут же всю её назначили в первую линию и отправили на позиции. Тяжёлой артиллерии приказано было занять скамеечку для ног, другим батареям

⁹ По запискам самой Мари Штальбаум начало сражения относится ко времени позднее начала первого часа 25 декабря, её родители относят к тому же времени уже окончание битвы; между тем из описания самого дела следует, что оно продолжалось не менее нескольких часов.

¹⁰ Гофман несколько запутывает последовательность событий, излагая по отдельности действия сначала мышинной, а затем кукольной армий, но к счастью хронология легко может быть восстановлена по приведенным в тексте крикам в кукольном лагере: «Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет!»

размещаться вдоль всей линии. Чтобы уменьшить беспорядок приказали сначала спускаться на первую полку пехоте, а коннице оставаться пока на месте. Тут выявилось ещё одно препятствие, которое не успели предусмотреть.

Пехоте кукол приходилось на пути на поле дважды преодолевать значительные преграды – при прыжке со второй полки шкафа на первую и при спуске с первой на пол, и оба раза порядки при этом приходили в расстройство, так что требовалось время для восстановления строя. По свидетельству Мари полки солдатиков маршировали к своим местам один за другим, так что к началу боя некоторые участки линии оставались занятыми только артиллерией без пехотного прикрытия. После пехоты начала спуск вниз конница Панталоне, которой также после его завершения понадобилось значительное время для принятия боевого порядка.

Бой начался артиллерийским залпом кукольной батареи по подступающим мышам. Вскоре открыли огонь все орудия кукол.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Плотный артиллерийский огонь оказался для мышей неожиданным и нанес наступающим значительные потери, особенно сильными были удары тяжелой батареи со скамеечки для ног. Больше всего погибло офицеров и унтер-офицеров, которые шли в первых рядах своих частей. Несмотря на это все полки достигли неприятельской линии и вступили в рукопашную схватку. Однако успеха наступающие добились только на своём левом фланге, там, где батареи кукол стояли без пехотного прикрытия. Здесь мыши захватили несколько пушек.

К обеим сторонам во время боя подходили подкрепления.

У кукол это были пехотные полки, опоздавшие к началу боя, у мышей – гренадерские полки из колонны главных сил, постепенно втягивавшейся на поле во время сражения. И Щелкунчик, и Мышиный Король направляли большинство подкреплений на правый фланг кукол, где сражение было наиболее ожесточенным. В один момент мыши сильно потеснили здесь солдатиков, Мари даже отмечает, что серебряные пилюльки мышиных гренадеров долетали уже до шкафа, однако скоро куклы выправили положение. В центре, напротив скамеечки для ног положение мышей было гораздо хуже. У наступающих полков не было инженерных средств для взятия возвышенности, и они только бессильно топтались напротив скамеечки, в упор расстреливаемые из пушек.

Приблизительно в это время, около сорока минут первого, Мышиный Король из донесений с поля боя окончательно понимает, что его авангард столкнулся со значительно большими неприятельскими силами, нежели рассчитывал король и что вернее всего мышам противостоит не пограничный корпус, а вся армия кукольного королевства. С тяжёлым сердцем приказывает он трубить отход¹¹.

ВТОРОЙ ЭТАП. Оставив на месте схватки множество убитых и раненых, мышиные полки, повинувшись звукам труб, попятились назад. Король молодой Дроссельмейер видит счастлившую возможность превратить отступление врага в бегство.

Кавалерия Панталоне у шкафа наконец выстроилась и готова к сражению. Пехотные полки образуют проходы, по которым эскадроны выходят в пространство между армиями и бросаются на отступающие мышиные ряды.

Этим Мышиный Король был вынужден остановить авангард для сражения с конницей противника, так как требовалось время для развертывания непрерывно подходящих частей основных сил. Мышиные полки образовали каре и отбили несколько атак Панталоне. Отчего

¹¹ Наш источник не упоминает об отступлении мышей, но как еще могли бы они отбить несколько кавалерийских атак, кроме как выйдя из рукопашного боя и построившись в каре? И не могли же они проделать это вблизи от батарей неприятеля. Отсюда мы и выводим необходимость отхода.

этот генерал не отвёл свои эскадроны сразу после неудачи первой атаки, когда стало очевидным, что обратить мышей в бегство не удалось, нельзя сказать с полной определенностью. Вероятнее всего он на некоторое время потерял управление своими частями – во время атаки связь с конным подразделением поддерживать довольно трудно. Пока Панталоне рассылал ординарцев к командирам, чтобы призвать их к послушанию, его полки продолжали беспорядочно атаковать мышиную каре, что, вероятно, и было принято нашим очевидцем за несколько атак.

Конец им положило только вступление в действие мышинной артиллерии, которая наконец развернулась под прикрытием авангарда, приблизилась к передовой линии и смогла вступить в дело. Попав под обстрел, кавалерия Панталоне вернулась за спины своей пехоты.

Главные силы мышей уже полностью развернуты. Начинает прибывать конница из арьергарда. Не желая ослаблять хорошее впечатление, оказанное на дух армии отражением вражеской конницы, Мышиный Король решает тут же, не тратя время на перестроения начать новую атаку.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Опять мыши по всей линии бросаются в наступление всеми силами. Полки авангарда оставлены в первой линии, только немного приняли вправо и влево. В центре Мышиный Король собрал несколько свежих полков, которые общим натиском на мамину скамеечку для ног должны наконец выбить неприятеля из этой позиции. Всем подходящим конным полкам отдан приказ собираться под комодом и ожидать сигнала к атаке. Молодой Дроссельмейер не успел ещё распорядиться подвести резервы из второй линии, как мышинная армия опять наступает. События развиваются быстро, одно за другим. Под натиском множества мышинных тел скамеечка для ног перевернута! Падая, она задела боевые порядки на правом фланге, так что тот был поколеблен.

Щелкунчик оказался вынужден скомандовать отступление на правом фланге, в надежде подкрепить линию конницей Панталоне. Очень скоро, однако, отступавшие полки совершенно расстроили ряды и смешались с наступающими мышами. В одном из таких отрезанных отрядов оказался молодой Дроссельмейер, с этого момента утративший связь со своими генералами и всякую власть над событиями, и, кажется, поддался общей панике¹².

Мышинные солдаты, оставшиеся по большей части без офицеров, начали беспорядочно преследовать отступающего противника. Сам Мышиный Король бросился в их ряды, пытаясь вернуть свои войска к повиновению, но тщетно. Командир мышинной конницы, не дождавшись сигнала, вывел своих мышей из-под комода и начал жестокое сражение с ещё державшимися полками левого фланга кукол.

Дальнейшее – хаос на поле боя и жестокая резня, в которой Гофман находит несколько ярких эпизодов и пускается в их подробное описание, не жалея красок. Для военного искусства интереса они не представляют.

Конец сражения источником не описан. Мы на основе отрывочных свидетельств восстанавливаем его следующим образом. Король молодой Дроссельмейер избег гибели по случайной случайности. Сохранившие организованность конница Панталоне и вторая линия Паяца сумели в бою на первой полке прикрыть бегство основной массы кукольных войск в лагерь на вторую полку и не пропустить вслед за ними мышей, после чего отступили наверх сами и закрылись в осаду в крепости.

¹² Никак иначе нельзя объяснить те его приказание в этот момент, которые передает источник. Здесь мы не можем исключить и выдумки Гофмана, который заставляет короля посреди битвы вспоминать Шекспира

Итоги сражения

Мыши одержали победу, тем более славную, что неожиданно для себя оказались перед армией, превосходной по числу. Мышиный Король показал себя не слишком гибким, но хорошо оценивающим свои силы и силы противника, спокойным и уверенным в себе полководцем. Мышиная армия дралась отлично, проявив стойкость в обороне и замечательную отвагу в наступлении, но довольно мало настоящей дисциплины. Из-за своеволия командира конницы не удалось уничтожить или пленить хотя бы часть бегущих неприятелей.

Король молодой Дроссельмейер явился в сражении слабым полководцем, слишком доверяющим своим генералам и медлительным в острые моменты. Многие части кукольной армии проявили стойкость, но вялое и неинициативное командование не смогло использовать лучшие их качества.

Мышам досталось поле боя и большая часть артиллерии кукол. Их цель была достигнута, но слишком дорогой ценой.

Как известно, Мышиный Король не смог из-за огромных потерь разделить свою армию и отправить хотя бы часть ее для завоевания Кукольного королевства. Он вынужден был держать всеми оставшимися силами осаду и ждать подкреплений.

Нелепая смерть во время вылазки осажденных прервала в самом начале эту так много в будущем обещавшую жизнь одаренного полководца и любимого вождя своего народа.

**Артем Царёв
Сандрийон.**

***(Истинное происшествие, случившееся летом 1786 года
в провинции Турень, в трех лье от городка Монбазон)***

**ПРОЛОГ, в котором вопреки обыкновению описаны события,
воспоследовавшие спустя несколько лет после эпилога**

– Говорят, она была красавицей... – задумчиво сказал генерал Бриссак. – Теперь уж и не понять...

– Зато сейчас вполне соответствует своему прозвищу! – ощерил зубы в нехорошей усмешке Ватье, бывший лионский портной, вознесенный вихрем революции на пост особого комиссара Конвента.

Правы были оба. «Кровавая маркиза» и остатки ее отряда знали: пощады не будет, сопротивлялись шуаны отчаянно, взять живыми не удалось почти никого. Исколотое штыками, изуродованное несколькими пулями тело предводительницы мятежников обильно залила кровь, своя и чужая.

– Надо достойно похоронить ее, – предложил генерал. – Всё-таки женщина и всё-таки была заслуживающей уважения противницей.

Обычно убитых и расстрелянных после боя шуанов скидывали в одну общую яму и зарывали без каких-либо опознавательных знаков.

– Что?! – изумился Ватье. – В своем ли ты уме, *гражданин* Бриссак?!

Слово «гражданин», обращаясь к генералу, он всегда произносил с особым нажимом, бесцеремонно намекая на дворянское происхождение командующего колонной.

– Мятежница Сен-Пьер по прозвищу «кровавая маркиза» приговорена революционным трибуналом к казни на гильотине! – патетично, словно с трибуны, провозгласил комиссар. – И она, несмотря ни на что, будет доставлена в Нант, и будет гильотинирована! Чтобы никто не усомнился, что приговоры трибунала всегда исполняются!

Солдаты принесли трофей, отысканный в «штабе» маркизы – увесистый окованный ларец, поцарапанный, потертый, наверняка переживший вместе со своей владелицей немало приключений.

– Выйдите! – скомандовал комиссар подчиненным. – А это оставь... – он потянул из рук солдата ружье с примкнутым штыком.

– Здесь могут лежать секретные документы, – пояснил Ватье генералу, словно тот спрашивал объяснений. – Переписка с Кобленцем или что-то не менее важное.

И он стал прилаживать штык к замку ларца. Генерал подумал, что судя по возбужденному, алчному лицу бывшего портного, тот рассчитывает найти кое-что более ценное...

Обломав кончик штыка, комиссар добился-таки своего – и тут же разочарованно выругался. Ларец оказался почти пуст, тяжесть его объяснялась лишь толщиной стенок.

Ватье повертел в руках дешевенькое бирюзовое ожерелье, небрежно кинул обратно в ларец. Вскрыл ладанку из потертого бархата, но обнаружил лишь локон – волосы светлые, очень тонкие, наверняка детские... Последний трофей – стеклянную, оправленную в серебро туфельку – комиссар несколько мгновений недоуменно разглядывал, затем прошипел:

– Аристократические выкрутасы... – и с силой ударил сувенир об угол ларца, осколки стекла посыпались на пол.

– Она не была аристократкой, – сказал генерал негромко, с тщательно сдерживаемой неприязнью. – По крайней мере не урожденной...

– Да что ты говоришь, *гражданин* Бриссак?! Я читал ее дело – самая натуральная маркиза.

– Морганатический брак с одним из младших Роганов, – пояснил генерал, сам не зная, зачем это делает. – И король пожаловал невесте титул маркизы де Сен-Пьер. А родом она из третьего сословия, вроде бы даже крестьянка...

– Крестьяне, рвущиеся в аристократы, не менее отвратительны, чем бывшие аристократы, прикидывающиеся друзьями народа! – с пафосом заявил Ватье и выразительно посмотрел на генерала. Тот отвернулся, затем вышел, бросив последний взгляд на тело мятежницы.

«Говорят, она была красавицей... – повторил гражданин Бриссак мысленно. – Жаль, что не пришлось увидеть ее живой...»

Бригадный генерал Бриссак, командующий карательной «адской колонной», никогда – до самой своей казни в 1794 году – не узнал, что с «кровавой маркизой» ему уже доводилось встречаться.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой выясняется, что чистая и светлая любовь подстерегает свои жертвы в самых глухих провинциальных закоулках, а граф д'Антраг отправляется в путешествие

«...привык сообщать тебе, любезный мой друг, обо всех моих радостях и горестях, постоянно черпать в нашей дружбе надежду на утешение и никогда не укрепляться в каком-либо мнении или же чувстве, прежде чем не поделюсь ими с тобой; поэтому теперь, когда разлучившие нас события бросили меня на новое поприще, в новую среду, мне было бы особенно тяжело, если бы я не мог поверять тебе все те переживания, которые уготовала мне судьба в этих новых обстоятельствах.

О, я уже вижу, милый Анри, как ты недовольно хмуришь брови, полагая, что сейчас тебе придется на двух десятках страниц внимать жалобам человека, не своею волею, но ради благосостояния семейства надевшего сутану, – и сожалеющего об утерянных радостях парижской жизни, о сумасбродных безумствах нашей юности и об изменчивой благосклонности красоток полусвета. Нет, друг мой, та мишура, тот бездумный калейдоскоп дней мало что уже значат для меня: двадцать восемь лет – возраст достаточный, чтобы по-иному, по-взрослому взглянуть на юношеские забавы и увидеть истинную цену того, что всего лишь несколько лет назад казалось важным и значимым...

Всё гораздо проще, любезный Анри, и всё гораздо сложнее: я влюбился!

Теперь я мысленным взором вижу твою снисходительную улыбку: эка невидаль, скажешь ты, – слышавший не один раз от меня подобные признания, – и ошибешься. Такого со мной не происходило никогда, да и не могло произойти, женщины Парижа похожи на цветы, выращенные в оранжерее – прекрасные, головокружительно благоухающие, и при том до последнего атома своего существа искусственные, бесконечно далекие от природы.

Нет, друг мой, поверь: лишь здесь, в глуши, в провинции, можно встретить девушку настоящую, подобную прелестному цветку сивии –

расцветающему, как известно, в самых безлюдных и глухих лесных дебрях. Помнишь ли, дорогой Анри, изящную строфу немецкого поэта, столь бездарно переведенную Лагарпом: «О сильвия, о нежный анемон лесов...» Впрочем, я отвлекся...

Итак, ее зовут Сандрийон...»

* * *

Прочитав вслух эту строчку, «любезный Анри» – Эмманюэль-Луи-Анри де Лоне, граф д'Антраг – сложил письмо (действительно, написанное мелким почерком на многих страницах), убрал в карман. Спросил, обводя взглядом присутствующих:

– Теперь, друзья мои, вы убедились, что бедняга Арман и в самом деле нуждается в том, чтобы мы пришли ему на помощь?

Собравшаяся компания ответила нестройными, но, в общем и целом, одобрительными возгласами.

– Сандрийон... Фи... – скривил презрительную гримасу Монтейль. – Какие уж там «анемоны лесов» – да от такого имечка за лье несет ароматами свиного хлева или лука, поджаренного на прогоркшем масле!

– Уверен, что под этим прозвищем скрывается графиня Ламотт, столь удачно ускользнувшая от пожизненного заточения, – предположил Бриссак с непроницаемо серьезным лицом. – Особе, сумевшей обвести вокруг пальца и королевский двор, и этих пройдох, парижских ювелиров, – вскружить голову бедолаге Арману никакого труда не составит.

– Вы смеетесь, господа, меж тем дело куда как серьезно, – сказал Анри д'Антраг. – Я хорошо знаю Армана, и он действительно принадлежит к тем людям, что способны испортить себе жизнь и карьеру из-за озорных глаз и стройных ножек сельской потаскушки.

– Так поедem же и спасем его! – вскричал с военной прямоотой и решительностью шевалье де Монбаре, успевший более других воздать должное дарам Бахуса. – Мы, все вместе, – поедem в ближайшие же дни и вырвем Армана из лап деревенской Цирцеи. А если она и в самом деле столь хороша, то... – он выдержал многозначительную паузу, давая понять, что не одни новоиспеченные аббаты способны оценить красоту цветов, выросших в лесной глуши.

К тому времени подали уже третью перемену блюд, и выпито было немало, дом графа д'Антраг всегда славился винным погребом, – идею шевалье тут же бурно поддержали все участники обеда. Сам граф, впрочем, не сомневался – когда дойдет до дела, у каждого найдутся весомые причины для отказа, и отправиться в Турень придется в одиночестве... Эмманюэль-Луи-Анри де Лоне, граф д'Антраг, напротив, всегда доводил задуманное до конца. И слыл в своем кругу весьма увлекающимся человеком: чего стоила одна лишь его дружба с братьями Монгольфье и полеты на их детище, на воздушном шаре, – вызывавшие у знакомых графа восторг и боязливое восхищение, но отнюдь не желание совершить такой же подвиг...

– Отчего Арман вообще избрал духовное сословие? – негромко спросил маркиз де Шатлю у хозяина дома. – Совсем не в его характере, насколько я успел узнать этого молодого человека.

Маркиз был как минимум на два десятка лет старше любого из собравшейся компании. И всех здесь именовал «молодыми людьми», о себе же и своих ровесниках выражался: «мы, старики...»

Д'Антраг ответил машинально, продолжая размышлять об одном пассаже из письма друга:

– Дело в том, что семья Армана – давно, со времен Анри Четвертого – пользуется одной восьмой частью доходов аббатства Жанлис, что даже сейчас составляет весьма неплохую сумму, смею вас уверить. Но бенефиций сей осуществляется лишь при условии: один из членов

семейства носит сутану священника. И вот, после смерти одного престарелого родственника, вместо шевалье Армана де Леру на свет семь месяцев назад появился аббат Леру.

– Значит, о браке с этой самой Сандрийон речь идти не может, – заметил маркиз с крайне глубокомысленным видом. Он вообще обладал даром изрекать прописные истины так, словно они являлись плодом его собственных глубоких размышлений.

– В том-то и дело, что Арман способен сотворить большую глупость...

О тревожных симптомах, замеченных им в самом конце письма, граф ничего не сказал. Позже, когда гости разъехались, вновь достал из кармана письмо Армана де Леру, перечитал предпоследний абзац:

«Очень многое в нашей жизни, любезный друг, соседствует со своей противоположностью: день и ночь, аверс и реверс монеты, умница Неккер и тупой бездарь Калонн. Не стала исключением и Сандрийон, – насколько ее, без преувеличения, можно считать ангелом во плоти, настолько же напоминает демона ее крестная – тетушка Имельда. Ты знаешь, милейший Анри, как скептически я всегда относился к диким предрассудкам минувших веков, но сейчас пишу тебе без тени сомнения: старуха Имельда – НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА...»

Последние слова были написаны заглавными буквами и дважды подчеркнуты.

* * *

К удивлению графа д'Антраг, один из собутыльников – де Бриссак – без шуток воспринял идею поехать в Турень и спасти аббата Леру от вскружившей ему голову сельской оболстительницы.

Причины столь серьезного отношения к застольному, шампанским подогретому разговору выяснились достаточно быстро. Выехали на следующий день, в половине первого пополудни, в карете графа, – и лишь после двух часов пути Бриссак перестал настороженно оглядываться.

– Кредиторы? – догадался д'Антраг после очередного тревожного взгляда, брошенного спутником назад.

Бриссак понуро кивнул. И добавил немного спустя:

– Не только они... Муж моей Жанны-Арманды – редкостная скотина, разбогатевшая на подрядах Пари-Дюверне и купившая баронский титул. Ревнив, как мужлан, и вопросы чести решает мужицкими способами... Впрочем, и слово «честь», и обозначаемое им понятие для него не существуют...

Как оказалось, ревнивый муж оповестил обитателей парижского дна, что заплатит тысячу ливров за каждую сломанную конечность лейтенанта де Бриссака. И триста ливров за каждое сломанное ребро. Хотя к столь возмутительному объявлению прилагалось подробное описание внешности лейтенанта, уже пострадали двое или трое безвинных, на свое несчастье имевших с ним внешнее сходство...

Бриссак вновь тревожно оглянулся. Однако за каретой катила лишь другая, тоже принадлежавшая графу, – в ней были слуги и вещи, призванные сгладить неудобства, поджидающие в дороге путешественников. Да еще двое конных грумов вели в поводу лошадей, на тот случай, если благородные господа соизволят развлечь себя верховой ездой.

Не видя преследователей, Бриссак приободрился и разговорился. Граф, собиравшийся было прочесть в дороге новую трагедию Лемьера и полистать томик мемуаров госпожи де

Моттвиль, вынужден был вместо того слушать рассказы о всевозможных жизненных невзгодах приятеля. Слушал он, тем не менее, без особого неудовольствия – д'Антраг считал себя исследователем человеческой натуры.

Жизнь и службу Бриссаку портила, по его уверениям, исключительно фамилия. Начальство, да и просто влиятельные люди, с коими лейтенанту доводилось сводить знакомство, – поначалу относились к нему весьма благосклонно, убежденные, что имеют дело с родственником герцога Жана-Поля де Коссе, маршала де Бриссака. Позже, когда ошибка вскрывалась – лейтенант не приходился маршалу даже отдаленной родней – влиятельные особы словно бы спешили исправиться и встречали де Бриссака более чем холодно...

Граф подумал, что, возможно, дело обстояло именно таким образом – надо полагать, «скотина-подрядчик» тоже поначалу вполне терпимо отнесся к шашням жены с родственником маршала и герцога, – но разъярился, когда узнал, что обязан рогами лейтенанту, происшедшему из мелкопоместных перигорских дворян.

После пятой или шестой печальной истории Бриссак сделал долгую паузу, и граф решил: сейчас невезучий лейтенант попросит одолжить ему денег, ливров пятьсот... Но тот лишь уныло пошутил:

– Наверное, стоит заказать ленту на грудь, на манер орденской, с вышитыми словами: «Я не родня маршалу Бриссаку!» Вдруг поможет?

Д'Антраг понял, что в своих штудиях рода людского допустил ошибку – впрочем, приятную.

...Заночевали в Орлеане, сняв два лучших номера во «Льве Франции», причем граф записался в гостиничной книге под привычным своим дорожным именем «господин Делоне».

После ужина разошлись по номерам, и, судя по женскому смеху, доносящемуся из-за двери Бриссака, лейтенант нашел утешение в объятиях какой-то орлеанки, слыхом не слыхавшей о существовании маршала-однофамильца.

Граф д'Антраг тем временем разделся без помощи камердинера, улегся в постель и достал второе письмо, полученное от Армана де Леру. Сей эпистолярный на вчерашнем обеде он не стал зачитывать – слишком странные вещи там излагались, заставляющие предположить у Армана серьезное умственное расстройство, либо...

Внятно сформулировать пресловутое «либо...» граф, считавший себя материалистом и друживший с учеными-просветителями, так и не смог...

* * *

«...вынужден общаться с предметом своей любви в облике благочестивого аббата – и, поверь, друг мой, не придумано еще изобретательным человечеством пытки горше и тягостней. Но Сандрийон настолько чиста и непорочна, что, без сомнения, одна мысль о любовной связи с духовной особой способна повергнуть ее в ужас и навеки положить конец нашему знакомству...

Вчера она пришла в мое скромное жилище – я как раз работал над переводом весьма-таки фривольного отрывка из Апулея, и пришлось сделать вид, что, на манер аббата Ватри или аббата Канэ, я занимаюсь богословскими филологическими изысканиями... И что же? Наутро я получил письмо от Сандрийон – на уродливой и грешащей грубыми ошибками латыни, но, тем не менее, столь варварская версия языка Вергилия и Цицерона выходила из-под пера писавшей весьма милой и трогательной.

Увы, друг мой, слова «ego amat», написанные Сандрийон вместо «ego amo»¹³, относились никак не ко мне... Представь себе, она одержима мыслью выйти замуж не просто за дворянина, но за принца! Ты скажешь, милый Анри, что подобное намерение – наивная утопия наивной провинциалочки? Ты не видел Сандрийон, любезный друг, – именно с такими девушками и заключаются порой морганатические браки...

Едва ли родители – отец и мачеха – одобрили бы подобные устремления дочери, даже если бы были осведомлены о них. Но крестная, тетюшка Имельда, о которой я упоминал в предыдущем послании, – как я понял из разговоров с Сандрийон, зачем-то пестует в ней сие навязчивое желание.

Именно с крестной Имельдой связано странное происшествие, случившееся сегодня, к рассказу о котором я перехожу. Сняв сутану и одевшись как дворянин, я решил навестить эту достойную женщину, имея целью использовать ее влияние на крестницу: убедить старушку – посредством уговоров или даже некоей суммы денег – исподволь внести в мечты девушки столь важную для меня эволюцию: дворянину хорошего рода не обязательно быть принцем, достаточно искренне, всем сердцем полюбить Сандрийон, чтобы составить счастье ее жизни.

Местные крестьяне отчего-то весьма неохотно показывали мне дорогу к дому Имельды, да и место для жилья она (либо ее предки) выбрала странное – на уединенной опушке леса, вдали от дорог и деревень. Лишь слабо набитая тропа вела туда, порой совсем исчезая в зарослях трав и кустарников – но истинная любовь, друг мой, преодолет все препоны, и к четырем часам пополудни я добрался до обиталища крестной. Позаброшенная, пришедшая в упадок усадьба, коя в равной степени могла принадлежать ранее и обедневшему дворянину, и зажиточному мещанину, – такой предстала моему взору резиденция тетюшки Имельды. Стены дома и служб покрывал дикий, неухожено растущий плющ, скрывающий даже окна, беседка совершенно развалилась, полураспахнутые ворота конюшни вросли в землю, и тянуло из-за них сыростью и трупным запахом – словно последние лошади околели здесь от голода и разлагались прямо в стойлах...

Как могла Сандрийон, такая прекрасная и солнечная, охотно бывать в столь неуютном, мрачном месте? – недоумевал я. И не просто бывать, но поддерживать хорошие отношения с владелицей этого тупа некогда живой усадьбы?

Впрочем, отдельные следы людского присутствия и даже заботы мне довелось увидеть. Цветник перед домом выглядел ухоженным, а голубятню, казалось, покрыли свежей краской не далее как в прошлом месяце.

«Ну и где же искать крестную Имельду в этом заросшем плющом царстве?» – едва лишь в голову мне пришла эта мысль, как я увидел человека – невысокого, но солидного, дородного, с густыми и длинными усами, облаченного, как мне показалось, в ливрею слуги, украшенную золотым позументом.

Слуга – если то был слуга (чуть позже, милый Анри, ты поймешь причину моих сомнений) – прошел совсем рядом, не обратив на меня внимания. А я... я стоял, не в силах задать ему вопрос – настолько удивительным показалось мне лицо этого человека. Причем мимолетность наблюдения не позволила

¹³ Ego amo – я люблю (лат.), ego amat – я любит, неправильная грамматическая форма.

понять и внятно объяснить причину того – осталось лишь убеждение: что-то с лицом не так, что-то не в порядке.

Страннолицый слуга меж тем шмыгнул – как-то на удивление проворно и быстро – в невысокую дверцу, ранее не замеченную мною за густым плющом. Страхнув минутное оцепенение, я последовал за ним, – и лучше бы, любезный друг, я этого не делал.

Крохотная комнатка, с единственной дверью, на пороге которой стоял я, – и при этом абсолютно пустая!! Ты можешь представить, дорогой Анри, мое изумление. Простукивать стены в поисках секретного хода не имело смысла – покрывавшие их пыль и густая паутина явственно свидетельствовали: даже если здесь и имеется тайный лаз, никто им много лет не пользовался... Единственное оконце – затянутое плющом и дающее минимум света – давно лишилось стекол, но сквозь частый его переплет с трудом проскользнула бы кошка, – что уж говорить о грузном мужчине! Искать люк в земляном полу я не стал, проще было предположить у себя расстройство разума или вызванную жарой галлюцинацию...

Вскоре глаза мои привыкли к сумраку, и я понял, что из помещения все же имеется еще один выход, пусть и не объясняющий загадочное исчезновение слуги, – большая крысиная нора. Спустя мгновение я с отвращением увидел обитателя пресловутой норы – огромная крыса вылезла наружу. Усы ее шевелились, и красные бусинки глаз уставились на меня с ненавистью.

И вот именно тогда, милый друг, я с трудом удержался от крика. Нет, не от вида грызуна – хотя, как и у большинства людей, крысы вызывают у меня лишь омерзение. Ужас мой и оцепенение вызваны были иной причиной: я понял, наконец, что столь поразило меня в лице исчезнувшего человека! Рот, любезный Анри! Крохотный, совершенно несоразмерный рот слуги с двумя торчащими зубами был точной копией крысиного, который я мог в настоящий момент лицезреть...

Крыса бросилась на меня. По счастью, мои сапоги для верховой езды оказались серой каналье не по зубам. Пнув ее ногой, я торопливо выскочил на улицу.

Мой визит привлек, наконец, внимание обитателей усадьбы – но отнюдь не людей. Между мной и моим конем стояла собака – большая, с внушительной пастью, но какая-то понурая, покрытая клочковатой, свалявшейся шерстью, с наполовину обрубленным хвостом. Рядом с ней сидел на земле громадный черный ворон, уставившись на меня прямо-таки человеческим взглядом. Услышав наверху карканье и хлопки крыльев, я поднял взгляд, и увидел, что на голубятне обитают далеко не голуби.

Давешняя крыса – неловко, прихрамывая на обе левых лапы – протиснулась в щель неплотно притворенной двери, за ней еще несколько. Пять или шесть воронов, размерами не уступавших первому, спорхнули с крыши – и я подумал, что клювы их могут оказаться не менее остры и опасны, чем ястребиные. Вся пернатая и четвероногая компания окружила меня и начала приближаться – медленно, почти незаметно...

Мое желание поговорить с мадам Имельдой вмиг куда-то улетучилось, сменившись другим: ретироваться как можно скорее из неприятного места.

Положив руку на рукоять шпаги – представляю, милый Анри, сколь нелепо смотрелся сей жест, особенно если учесть его адресатов, – я шагнул в сторону своего жеребца. Собака негромко заворчала, но отступила в сторону.

Клянусь, друг мой, в ворчании ее слышались поистине человеческие нотки. Ворон тяжело отлетел на несколько шагов. Путь стал свободен, но это отнюдь не казалось моей победой – словно меня хотели заставить отсюда убраться и добились своего...»

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой путешествие графа д'Антраг завершается, а так же идет разговор о предметах и событиях совершенно мистических

В маленький городок Монбазон они въехали ближе к вечеру, изрядно прискучив долгой и унылой дорогой. От мысли заночевать здесь д'Антраг отказался. Во-первых, не было личной гостиницы, а во-вторых, по справке выяснилось, что деревушка Сен-Пьер – именно там влачил аббат Леру свое сельское уединение – находится не далее как в трех лье.

– Поехали верхом, – предложил граф. – Слуги как-нибудь разыщут дорогу сами, а мне не терпится поскорей увидеть Армана.

Бриссак не возражал, и, проведя менее часа в седлах, оставшиеся вдвоем путешественники увидели крыши Сен-Пьера. Деревушка производила гнетущее впечатление. Покосившиеся, потемневшие от времени дома, разбросанные без признака какой-либо планировки. Упомянутые крыши покрывала солома, и многих вязанок не хватало... Ни одного жителя не было видно.

«Неужели Арман живет в таком убожестве? – с горечью подумал граф. – Неудивительно, что в голове у него помутилось...»

Они направили коней к церквушке – и она, и стоявший неподалеку дом кюре выглядели чуть более приглядно, чем дома паствы. Но лишь чуть...

Кюре они не нашли, ни дома, ни в храме, зато обнаружили звонаря – тугого на ухо (издержки профессии), слегка пьяного и изрядно придурковатого. Разговор затянулся, но все же с немалым трудом удалось разузнать: нет, мсье аббат здесь не живет. Да, порой бывает, и даже проводит иногда службы вместо часто хворающего кюре, например, завтра будет служить заутреню... Так где же его найти? А вон по той дорожке поезжайте, незадолго до леса увидите.

Д'Антраг тронулся было в указанном направлении, но пришлось подождать Бриссака – тот с необычайно таинственным видом отвел звонаря в сторонку, что-то долго втолковывал ему, затем, как показалось графу, протянул несколько монет.

– Не пожалел двух экю, зато приготовил милый сюрприз для Армана, – несколько туманно пояснил вернувшийся Бриссак и больше ничего не пожелал рассказывать.

На выезде из деревни они увидели еще одного местного жителя, одетого в невероятно засаленную домотканую блузу и в панталоны примерно той же степени чистоты и опрятности. Деревянными двузубыми вилами мужчина переворачивал сено, разложенное на придорожной лужайке.

– Скажите, любезнейший, мы правильно едем к дому аббата Леру? – поинтересовался граф, решивший, что целиком и полностью полагаться на слова звонаря будет несколько опрометчиво.

Пейзанин разогнулся, и растерянно переводил взгляд с одного путника на другого. Был он немолод – в густо росшей на лице щетине обильно сквозила седина.

«Еще один глухой? – подумал граф. – Уж французский-то язык здесь должны понимать, не Бретонь, где целые деревни бормочут лишь на своем варварском наречии...»

Он повторил вопрос, громко и тщательно выговаривая слова.

Низкий лоб пейзаинина собрался в морщины, рука потянулась к затылку... Отреагировал он своеобразно – гаркнул во всю глотку:

– Мари-Николь! Мари-Николь!

Из-за кособокого сарайчика показалась девушка, и граф д'Антраг на время позабыл, что собирался поставить небольшой научный опыт: выяснить, чем быстрее можно подвинуть пейзаина к разговорчивости – видом хлыста или же серебряной монеты.

Девушка была хороша – для тех, кто имеет склонность к деревенским, кровь с молоком, красавицам. К тому же одежда ее резко контрастировала с засаленной блузой старика – простое, но чистенькое и нарядное платье. Высокую полную грудь пейзаинки даже украшало ожерелье – граф удивился, до сих пор он считал, что деревенские девушки так наряжаются на работу лишь в буколических операх... Однако Мари-Николь принесла деревянные грабли и немедленно пустила их в ход – при том нагнулась в сторону господ столь низко, что содержимое ее декольте заставило де Бриссак с шумом втянуть в себя воздух.

– Аббат... там... – проговорил наконец старик, и показал для верности рукой. Зубы у него были хуже некуда – половины не хватало, оставшиеся потемнели, сгнили, – и, казалось, униженно молили о щипцах зубодера.

Указанное направление соответствовало полученным от звонаря сведениям.

– Если бог действительно создал человека по своему образу и подобию, – несколько минут спустя произнес Бриссак, отличавшийся вольнодумством, – то надо признать, что во внешности господина Б. имеются весьма неприятные черты...

Д'Антраг промолчал. Затем лейтенант намекнул, что неплохо бы запомнить имя и дом Мари-Николь – он, Бриссак, дескать, охотно бы улучшил бы породу здешних мужланов на каком-нибудь сельском сеновале. Граф вновь ничего не сказал.

Они пришпорили коней и вскоре увидели домик, разительно отличавшийся от домов Сен-Пьера: небольшой, но уютный, аккуратно побеленный, с черепичной крышей.

А еще через минуту на пороге появился привлеченный стуком копыт Арман де Леру.

* * *

– Ты в письмах очень мало рассказал о предмете своей страсти, – сказал д'Антраг, наблюдая, как слуги устанавливают на улице походный стол и выгружают из кареты многочисленные припасы. – Кто она и кто ее родители, о которых ты мельком упомянул?

Граф был несколько удивлен – никаких признаков безумной, страстной влюбленности, столь явно сквозившей в письмах, молодой аббат не проявлял.

– Ее родители... – задумчиво повторил Арман. – Вообще-то ее отец дворянин...

– «Вообще-то» означает, что он из новоиспеченных? – уточнил Бриссак. – Фи-и-и...

Д'Антраг – чьи предки-графы ходили еще в крестовые походы – улыбнулся самыми кончиками губ. Род перигорских де Бриссаков был возведен в дворянское достоинство тоже не так уж давно, во времена религиозных войн.

– Именно так, – подтвердил Арман. – Причем дворянство дедом Сандрийон получено за подвиг, достойный внесения в исторические анналы, – за излечение застарелого геморроя у самого герцога д'Аржансона!

– Если бы в геральдической комиссии сидели честные люди, – немедленно подхватил Бриссак, – то центральное место в новом гербе занимало бы седалище военного министра!

Граф взглянул на Армана де Леру с легкой тревогой – как он отнесется к весьма вольной шутке приятеля? Все-таки речь идет об отце возлюбленной...

Арман остался совершенно спокоен. Более того, продолжил рассказ о родне Сандрийон в столь же фривольном тоне:

– А ее мачеха в первом браке была баронессой – и теперь спит и видит, как бы вернуть баронскую корону на дверцы кареты. Выхлопотала для своего благоверного место главного лесничего принца де Рогана – здешний лес принадлежит ему, вы не знали? Неподалеку отсюда

по дороге на Бельви расположен один из замков принца, и раз в год, летом, он дает бал для верхушки местного дворянства...

После этих слов господин аббат тяжело вздохнул.

– Ба! Кажется, я понял, в чем дело! – вскричал Бриссак. – Принц Роган давал этим летом бал – и не счел фамилию де Леру относящейся к верхушке дворянства?!

– Бал состоится сегодня, – сухо ответил Арман. – И дело совсем не во мне... Сандрийон, окончательно потеряв голову от бредней тетки, собралась туда... Без приглашения.

– Едва ли ее пропустят дальше ворот парка, – сказал д'Антраг. – Роганы любят держать в услужении титулованных людей, подчеркивая своё исключительное положение среди французских дворян. Но за ровню их никогда не признают.

Бриссак сегодня был явно в ударе и продолжил блистать проницательностью:

– Полноте, граф! Дружище Арман опасается обратного – что его возлюбленную пропустят, не так ли? У де Рогана, например, двое молодых сыновей... Принцы ведь женятся на простолюдинках лишь в сказках, а вот делают их содержанками сплошь и рядом!

Арман ничего не ответил, и упорно молчал до того момента, когда трое друзей уселись за стол. Тогда он произнес с горечью:

– У меня, не знаю отчего, есть нехорошее предчувствие: я не увижу больше Сандрийон... А ведь всё так удачно складывалось... Я рассказал ей о своем брате-близнеце, – дворянине, чистом душою и сердцем, к тому же не женатом... Нашел священника, готового за деньги обвенчать хоть магометанина с картезианкой... Снял очень миленький домик в Монбазоне... Будь проклят Роган с его балом!

Граф д'Антраг решился наконец высказать томившее его сомнение:

– Прости меня, милый Арман, но... Мне показалось, что в письмах ты демонстрировал несколько иные чувства – и несколько иные намерения – в отношении своей избранницы. Мы, твои друзья, даже опасались, что...

Граф не договорил – аббат рассмеялся, на удивление заразительно и весело.

– Ох, извини, любезный Анри... Неужели и в самом деле можно было решить, что я потерял голову от прекрасной селянки? Что же, тем лучше! Всё гораздо проще, друзья мои... Должен признаться, что питаю самые серьезные намерения прославиться на литературном поприще, – а времена, когда можно было проложить путь в Академию косноязычными переводами Федра либо Саллюстия, к счастью, миновали. В изящной словесности наступает новый век, и новые книги будут занимать внимание читателей и критиков – наиболее близкие к жизни, к природе, к истинным взаимоотношениям между людьми...

– Значит, мне довелось стать первым читателем начальных глав «Писем из деревни»? – догадался граф. – Эпистолярного романа, сочиненного господином де Леру?

– Ну, не совсем так... – смутился Арман. – Ничего специально я не сочинял и не выдумывал... Просто описал имевшие место события несколько более литературно и возвышенно...

Бриссак почувствовал – или ему показалось, что почувствовал – в двух последних репликах некое глубинное напряжение. И он поспешил увести разговор в сторону:

– Арман, вы, наверное, отчаянно здесь скучаете без последних парижских новостей? Мне кажется, мы с графом сможем восполнить сей пробел. Дошла ли, к примеру, до ваших краев препикантейшая история о новом любовнике мадмуазель Дютэ?

* * *

После пятой бутылки шампанского разговор о женщинах сменился разговором о делах магических и оккультных – хотя и прекрасный пол продолжал занимать в нем изрядное место.

– Любопытный случай произошел с девицей Ленорман, наделавшей столь много шума в Париже, – рассказывал Бриссак. – Учился с нами в военной школе один юнкер – нелюди-

мый, настоящий дикарь-южанин, не хочу утомлять вашу память его варварской фамилией... Утверждал, что он сын провинциального адвоката – может, оно и так, но я уверен, что еще дед этого малого был самым настоящим корсиканским banditto. Однажды – редкий случай – нам удалось вытащить его на воскресное гуляние на площади Дофина. Там выступала со своими гаданиями мадмуазель Ленорман. Мы сложились по несколько экю с человека, и Монборе заранее навестил девицу, рассказав ей, что надо предсказать нашему нелюдиму. Шутка удалась на славу! Малыш-корсиканец ходит теперь сам не свой – еще бы, услышал, что ему предстоит стать величайшим полководцем в истории и повелителем половины мира!

– К концу жизни дослужится до чина капитана в провинциальном гарнизоне, – меланхолически прокомментировал граф. И рассказал о другом пророчестве, слухи о котором поползли не так давно по Парижу:

– В начале этого года в салоне герцогини де Грамон собралось достаточно пестрое общество: придворные, военные, судейские, литераторы... Звучали весьма смелые речи – о Вольтере, о грядущей революции, что сбросит с Франции цепи суеверия и фанатизма, о царстве разума и свободы, которое не за горами. Лишь Казот – связавшись с иллюминатами, он помалу приобрел славу ясновидца, – не разделял общих восторгов. «Вы увидите ту великую и прекрасную революцию, о которой так мечтаете, – сказал он. – Но лучше вам не знать, что произойдет с вами в долгожданном царстве разума...» Конечно же, после такого вступления все наперебой стали требовать предсказаний: что случится с каждым из них. И Казот дал волю фантазии: Кондорсе, по его словам, предстоит принять яд, чтобы избежать казни на революционном эшафоте; Шамфор с той же целью выстрелит себе в голову, но неудачно, лишь обезобразив лицо... Де Байи и де Мальзерб не успеют уйти из жизни сами – и примут смерть из рук палача. Герцогиня попыталась свести все к шутке, сказав, что женщины в бунтах и революциях не участвуют, и ей ничего не грозит. «Ошибаетесь, сударыня, – сказал безжалостный Казот. – Вы поедете к месту казни на простой тюремной повозке, и умрете без духовника, без исповеди. Причем окажетесь еще не самой высокопоставленной дамой, казненной таким образом...» И он весьма прозрачно намекнул, что позорная казнь ждет и принцесс крови, и, смешно сказать, королевскую чету... Сейчас это звучит как иллюминатские бредни – но тогда уверенные мрачные речи Казота на многих произвели впечатление.

– Бред, конечно же, – произнес де Бриссак. После чего в нарочито игривом тоне пересказал старый анекдот об известной иллюминатке – супруге маршала де Ноайля, опустившей адресованное Богородице письмо в кружку для пожертвований церкви святого Рока; томимый скукой священник написал ответ от имени Пресвятой Девы, завязалась оживленная переписка – обман вскрылся несколько месяцев спустя и история наделала много шума... В заключение рассказа он спросил де Леру:

– Скажите, Арман, коли вы уж время от времени подвизаетесь в здешней церкви, – вам не доводилось получать схожие послания? При здешней простоте нравов это было бы не удивительно...

– Не доводилось... Но примеров мракобесного суеверия и без того хватает. Не так давно кюре привез из Парижа часы – большие напольные часы с боем... И что вы думаете? Сия невинная покупка вызвала крестьянское волнение, чуть ли не бунт. Кто-то пустил слух, что часы на самом деле – пресловутая габель, которую никто здесь в глаза не видел и ничего о ней толком не знает, но все уверены, что страшнее вещи нет на свете... Пришлось вмешаться мне – причем успел я в последний момент, часы уже лежали на готовой вспыхнуть поленице.

– Как же вы сумели переубедить фанатиков? – поинтересовался Бриссак.

– Очень просто. Показал им письмо, полученное из Артуа, от де Левиса, – большая печать с герцогской короной выглядела на нем необычайно внушительно. И сказал, что это булла папы римского – предписывающая каждому французскому кюре владеть часами с боем. Толпа немедленно разошлась, причем многие с благоговением облобызали печать де Левиса.

– Фанатизм и суеверия низов или развращенное безверие высшего сословия – что страшнее для Франции? – продекламировал Бриссак патетически. – Хорошая мысль, надо бы записать...

– Фанатизма здесь хватает... То ползут слухи о двухголовом теленке, родившемся в соседней деревне в пятницу, и предвестившем великие беды, причем на турецком языке... То пейзажи приносят мне какой-то обугленный камень, и пытаются продать за десять ливров, утверждая, что он свалился с неба... И все мои уверения, что физиологическое устройство гортани телят не позволяет им произносить ни турецкие, ни какие иные речи, – уходят, как вода в песок. С тем же успехом можно объяснять, что космос – суть пустота, заполненная мировым эфиром, и камням там взяться решительно неоткуда...

Увидев, что Бриссак тянется откупорить очередную бутылку (слуг приятели давно отпустили), аббат де Леру запротестовал:

– Полно, друг мой! Мне завтра – вернее, уже сегодня – очень рано вставать и служить заутреню – кюре в отъезде. И без того, боюсь, вместо канонических текстов придется прочесть несколько отрывков из Апулея, вставляя в подходящих местах «аминь»...

– Не волнуйтесь, Арман, – сказал Бриссак с многозначительным видом. – Я предвидел, что наша вечеринка затянется, – и принял меры. Взгляните на свои часы, когда колокол на церкви в очередной раз пробьет время, и вы всё поймете.

«Так вот о чем он сговаривался со звонарем, услышав про заутреню...» – догадался д'Антраг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой материализм и просвещение одерживают самую решительную победу над фанатизмом, мракобесием и суевериями

Роже-Анж – тот самый пейзажник, что встретился графу и Бриссаку на выезде из Сен-Пьера – привык вставать не просто на рассвете, но за час до него, едва небо на востоке начало набухать розовым. Вставал и безжалостно поднимал домочадцев – скудный завтрак, и за работу.

Сегодня он проснулся особенно рано, но дело того стоило, утро предстояло особое...

Полежал в темноте, приводя мысли в порядок, услышал, как колокол церкви святого Петра пробил три удара – и тут же сел на низкой, сколоченной из досок лежанке. Что-то не так... Время он давно привык чувствовать без часов – и, по его ощущениям, было гораздо позднее.

Он встал, с наслаждением почесался, тело зудело от укусов насекомых. Иветт, рябая невестка, греющая ложе свекра, пробормотала что-то во сне – Роже-Анж взглянул на нее почти с ненавистью.

Одеваться не стал, спал в одежде – июньские ночи прохладны, а топливо для очага дорого. Роже-Анж вышел из-за занавески, отделявшей ложе главы семейства от общей комнаты. Остальные домочадцы спали прямо на земляном полу, на кучах всевозможного рваного тряпья. Ни в узенькие щели окошек, ни в зияющее в потолке отверстие дымохода не сочилось ни лучика света. Перешагивая через лежащие тела, Роже-Анж прошел к двери, отодвинул деревянный засов, вышел на улицу.

Так и есть – небо на востоке оказалось не то чтобы светлым, но чуть менее темным. Не иначе как звонарь Гризье выпил вчера больше обычного... Пора будить Мари-Николь – по опыту прошлых лет Роже-Анж знал, что гости с бала начнут разъезжаться через час-другой, но приготовиться стоило заранее. Он шагнул обратно в дом, стараясь дышать ртом – после ночной свежести густые испарения давно не мытых тел казались особенно отвратительными.

Дверь чуланчика, где ночевала Мари-Николь, отворилась с пронзительным скрипом. Роже-Анж специально не смазывал петли – не для того он бережет дочку, чтобы кто-то из

недоумков-сыновей залез к ней под юбку и порушил все великие планы... (На самом деле двое старших лишь считались сыновьями Роже-Анжа, будучи в действительности его единокровными братьями, – покойный отец тоже был не прочь пошалить с невесткой.)

Мари-Николь посапывала, свернувшись клубком, подтянув колени к подбородку – иначе на полу крохотного помещения было попросту не разместиться. Роже-Анж пнул ее – лего-нечко, чтобы, чего доброго, не остался синяк. Прошипел:

– Вставай, дармоедка...

Потом Мари-Николь мылась на улице, под навесом, вскрикивая от ледяной воды. Роже-Анж стоял рядом, придирчиво разглядывал ее грудь, живот, бедра... Хороша, спору нет, хоть сейчас под принца... Нет, конечно же, Роже-Анж не мечтал, что на его дочь упадет благосклонный взгляд столь высокой особы. Однако старый Козиньяк (тоже владевший участком, очень удачно расположенным у дороги) продал два года назад дочь проезжему секретарю королевского суда из Монбазона, – и дела его круто пошли в гору, прикупил виноградник у вдовы Люро, а сейчас торгуется с кривым Венье насчет покупки мельницы...

Рассвет близился. Роже-Анж принес дочери хранившиеся в запертом сундуке выходное платье, бирюзовое ожерелье и нарядные башмачки из красной кожи. Мари-Николь, закутанная в холщовое полотенце, дрожала и смотрелась не слишком-то прельстительно. Пришлось исправлять дело – аккуратно положив сложенное платье на чурбак, Роже-Анж обнял дочь, мял ей грудь заскоруждой, мозолистой ладонью, вторая скользнула вниз... Остановился старик с трудом, но своего добился: Мари-Николь покрылась румянцем, глаза поблескивали, дыхание бурно вздымало грудь...

– Одевайся, – буркнул Роже-Анж и отвернулся. Затем подумал, что если принц – или хотя бы секретарь суда – нынешним летом не подвернется, то он сам опробует это яблочко. Перезревшие плоды начинают гнить...

Вручил дочери деревянные грабли, отправил к дороге – вновь разметать сено, уложенное вчера вечером в аккуратную копну.

Восток все больше наливался светом, уже можно было разглядеть купол церкви и колокольню, различить в темной стене леса отдельные деревья. Скоро гости его высочества начнут разъезжаться. Да и вчерашних дворян, спрашивавших про аббата, нельзя сбрасывать со счетов – Роже-Анж заметил, как один из них пялился на грудь его дочери...

Пора поднимать домочадцев, хватит им бездельничать. Роже-Анж тяжело пошагал к дому, но остановился, услышав от дороги истошный крик:

– Оте-е-е-е-ец!!!

Ну что там у нее... На грабли наступила? Он поспешил к дочери. Подойдя, решил было, что понял причину ее испуга: из-под ног метнулась огромная крыса – как-то неловко, несколько боком, прихрамывая на обе левые лапы... Но закричала Мари-Николь не при виде грызуна.

– Э-э-э... – только и сказал Роже-Анж, потянувшись к затылку привычным жестом.

На дороге лежала тыква. Да что там тыква – тыквица, не то король, не то кардинал всех тыкв. Огромная, рыже-красная, необхватная... Откуда она здесь? Да еще в такое время? Прошлогонний урожай давно съеден, и тыквы сейчас зеленые, с кулак размером...

– Отец... – лепетала Мари-Николь, – она... она... Она говорит!!

Губы девушки подрагивали. Роже-Анж собрался огреть ее пониже спины рукоятью граблей, – какому же принцу, скажите на милость, приглянется слабоумная, несущая всякую чушь? И тут он сам услышал – далекий, еле слышный женский голос, раздающийся словно бы прямо в голове...

Роже-Анж осторожно шагнул к чудо-тыкке, и голос стал громче – сидящая не то в гигантском овоще, не то в голове женщина умоляла спасти ее отсюда, и порола какую-то ахинею о часах, не вовремя пробивших...

– Сгинь, сатана, – пробормотал Роже-Анж, осеняя себя крестным знамением.

* * *

Под утро обильные возлияния сделали свое дело. Арман де Леру если и вспоминал про заутреню, то далеко не в благочестивых выражениях: какого дьявола, в самом деле, он должен исполнять чужие обязанности? Да и вообще, завтра же отправится в Париж, и объявит семье, что бросает постылую каторгу, – пускай-ка братец Жан-Франсуа отрабатывает бенефиций, хватит ему бездельничать! А его, Армана, призвание – литература!

– Но сегодня, друзья, мы поедem к моей Сандрийон! – восклицал Арман. – И вы убедитесь, какие жемчужины попадают в здешней навозной куче! Я уверен, что она вернулась задолго до полуночи, даже не попав в бальную залу, и нуждается в утешении, – а сотня экю сделает лесничего весьма сговорчивым, и он не будет возражать, если мы прокатимся с его дочерью развлечься в Монбазон! Выезжаем немедленно!

Пошатываясь, он направился к дому, переодеться. Бриссак, тоже весьма разгоряченный вином, был не прочь составить компанию приятелю. Д'Антраг ближе к рассвету впал в меланхолию и никаких возражений не высказал.

Сонные слуги седлали коней, когда появился встрепанный, с соломой в волосах крестьянский парень: очень важное, мол, дело к господину аббату. На графа и Бриссака он глянул с опаской, и, нагнувшись к уху де Леру, горячо что-то зашептал. Арман сидел с брезгливой миной – наверняка изо рта парня разило отнюдь не флорентийскими благовониями.

– Тыква?! – вскричал аббат, не дослушав. – Человеческим голосом?! Сожгите ее к чертям! Спалите на самой большой поленице! И не забудьте положить туда же двухголового тельца!

– И габель, – подсказал Бриссак.

– Да, да, и габель! В огонь все порождения дьявола! В очистительное пламя!

...Когда они проезжали окраиной Сен-Пьера, со стороны церкви донесся отчаянный, оглушительный вопль – трудно было представить, что его способен издать человек либо животное. Бриссак придержал коня, потянул носом воздух. Покачал головой:

– Похоже, они и в самом деле жгут тельца... Явственно тянет горелой плотью.

– Да пропади они пропадом, фанатики и мракобесы! – откликнулся Арман, по-прежнему возбужденный. – Поспешим, друзья, нас ждет Сандрийон, моя Сандрийон!!

ЭПИЛОГ, в котором объясняются некоторые события, описанные в прологе, а некоторые навсегда остаются загадкой

Тем летом восьмилетняя Сюзанн по прозвищу Заячья Губа – дочь Роже-Анжа, считавшаяся его внучкой – стала обладательницей собственной, тщательно скрываемой от посторонних тайны.

Когда выдавалось свободное время, она убегала далеко, за самый дальний, давно пустующий амбар, чуть ли не к границе леса, доставала из тайника свое сокровище, – и хоть на полчаса, но чувствовала себя настоящей принцессой. О том, чтобы обуть туфельку из хрусталя и серебра, она даже не помышляла, – ставила ее на камень и любовалась, грезя о другой, прекрасной жизни...

Потом сказка закончилась – кто-то выследил Сюзанн, и в следующий визит она нашла тайник разграбленным... Девочка подозревала Мари-Николь, единокровную сестру, – пару раз видела ее неподалеку от своего убежища.

Безутешное горе длилось больше месяца, а затем визиты за дальний амбар возобновились – у Сюзанн появилась новая тайна. Вернее сказать, появился друг – большая старая крыса.

Заслышав шаги девочки, она тяжело, хромая на обе левые лапы, вылезала из норы. Неторопливо съедала принесенное угощение, и при этом важно, словно королевский гвардеец, топорщила усы. Затем устраивалась на солнышке и слушала, как девочка рассказывает сказки...

Слушательницей крыса оказалась благодарной: не перебивала и не смеялась над шепелявостью, вызванной заячьей губой... И, казалось, если бы умела говорить, – тоже могла бы поведать немало занимательных историй.

Часть вторая

ЗВОН МЕЧЕЙ И ПУШЕК ГРОМ

Олег Дивов

Мы идем на Кюрасао

Петр Тизенгаузен, молодой дворянин из мелкопоместных, был с придурью.

Еще в детстве его одолевали всякие идеи: то затеет вертеть дырку до центра земли и обрушит летний нужник; то возьмется изучать самозарождение мышей в грязном белье и увидит слишком много интересного; то задумается, чего люди не летают, и после ковыляет с ногой в лубках. Когда Петр наконец вырос и озаботился вопросами попроще, а именно, почто у девок сиськи, и как от вина шумит в голове, родители юного Тизенгаузена заметно воспряли духом.

Но годам к восемнадцати, когда все ему стало окончательно ясно, понятно, доступно, а от этого как-то пресно, Петру нечто особенное вступило в голову.

От скуки Тизенгаузен держали парусную шнягу, на которой в ясную погоду гуляли по Волге-матушке под гармошку и самовар с баранками. Шняга была верткая, легкая, быстрая, не боялась волны, прелесть суденышко. На ней даже стояла пушчонка для потешной стрельбы, из разряда тех, которые пищалью назвать уже нельзя, а орудием еще совестно.

И вот на эту шнягу Петр Тизенгаузен вдруг зачистил.

Экипаж шняги состоял из шестерых мохнорылых обормотов под командой вольноотпущенного матроса деда Шугая. Тот Шугай, даром что дед, носил флотскую косичку, в ухе серьгу и за поясом нож. Еще он был знаменит аж на другом берегу Волги-матушки невероятным своим сквернословием и ловкостью в работе со всякой снастью. Рассказы деда Шугая о дальних походах и истоплении басурман тянулись часами, ибо на одно русское слово у него приходилось три-четыре морских. Но если слушать внимательно, то можно было узнать вещи поразительные – например, что у китайнок дырка поперек.

Главное, со шнягой дед управлялся отменно. Не было случая, чтоб его мохнорылый экипаж черпнул бортом воду, навалился на другое судно или, скажем, пропилил с похмелья якорь – что на Волге-матушке испокон веку считалось в порядке вещей.

Приняв командование и понизив деда Шугая до боцмана, каковое понижение было компенсировано дополнительной чаркой водки в день, Петр Тизенгаузен развил на шняге кипучую деятельность. Во-первых, он перекрестил ее из «Ласточки» в «Чайку». Во-вторых, заставил матросов основательно подновить судно и заново покрасить. В-третьих, оснастил «Чайку» рындой. И принялся на шняге по Волге-матушке разнообразно вышивать. И в ведро, и в дождь, и при любом ветре «Чайка» сновала туда-сюда, оглашая великую русскую реку чудовищной руганью и вытворяя такие эволюции, что соседи Тизенгаузенев крутили пальцем у виска.

– Эх, и угораздило же меня с моим талантом родиться в России! – возмущался Петр, когда ветер стихал, и команда садилась на весла. – Что скажете, пиратские морды?!

– Ё! – дружно орали пиратские морды.

Экипаж шняги, надо сказать, разросся уже до дюжины мохнорылых, и морды у них вправду были довольно пиратские. Тизенгаузен самолично отбирал на борт мужиков, из-за чего даже имел серьезный разговор с папенькой.

– Как один острожники! – возмущался папенька. – Зарежут! Сожрут!

– А у меня пистолеты, – отвечал Петр.

Со временем эволюции шняги стали приобретать угрожающий оттенок: «Чайка» шныряла в опасной близости от других судов. Опытный глаз легко угадал бы в ее маневрах развороты для бортового залпа и абордажные заходы.

Вскоре со шняги помимо обычной ругани донеслась еще и пальба: Петр выставил на фарватер старый ялик и крутился вокруг него, поливая картечью из пушчонки.

Обеспокоенный папенька бросился к маменьке.

– Быстро жени мальчишку на соседской дочери, пока не началось!

Но было поздно.

Следующим утром на мачте «Чайки» взвился черный флаг. На квадратной тряпке были грубо намалеваны череп и кости.

– Прощайте, маменька и папенька! – крикнул Петр, стоя у руля. – Не поминайте лихом! Мы идем на Кюрасао!

Маменьке сделалось дурно. Папенька в сердцах плюнул шняге вслед.

– Да ты раньше Калязина потонешь, – сказал он.

Шняга подняла все паруса и, подгоняемая легким попутным ветром и крепким матом, унеслась.

Ликующий экипаж выпил по чарке водки за успех предприятия и во славу капитана.

– Стану адмиралом, будете пить по две, – пообещал Петр.

– Ё!!! – заорали пиратские морды.

Тизенгаузен подобрал команду умышленно – все его матросы были, помимо вдового деда Шугая, в разладе с женами и мечтали убраться куда подальше. Хоть на Кюрасао. Поглядеть заодно, правда ли у китайнок дырка поперек.

Шняга весело скакала по мелкой волне.

* * *

К обеду вышли на траверз села Концы. Стали на якорь в видимости скобяной лавки жида Соломона – больше в Концах ничего достойного внимания не было. Тизенгаузен высапил на берег десант во главе с огромным рыжим Волобуевым.

– Все ясно, пиратские морды? – напутствовал флибустьеров капитан.

– Ё! – ответили флибустьеры.

Жид Соломон, увидев выходящую на берег шайку и осознав, что морды приближаются сплошь пиратские, заперся в лавке. Волобуев со товарищи неуверенно потоптались у двери, постучали обухами топоров в ставни, и все было бы ничего, не вздумай Соломон показать флибустьерам в замочную скважину кукиш.

Десант запросил поддержки с моря.

– Наводи, – приказал Тизенгаузен канониру Оглоедову. – Пали!

Пушчонка жახнула по лавке и с первого раза засадила ядрышко аккурат в замочную скважину.

Лавка была захвачена без боя, только жид Соломон с перепугу остался на всю жизнь заикой. Жена его и дочери отделались не в пример легче, правда, следующей весной почти одновременно родили по мальчишке.

– Ну дает Соломошка! – изумлялись в Концах. – Заика, а ишь ты!

Пираты взяли в лавке богатый приз скоб, гвоздей и амбарных петель. Из скоб понаделали абордажных крючьев, гвозди порубили на картечь, петлями набили трюм в разумении когда-нибудь их выгодно продать.

«Чайка» ушла от греха подальше на другой, безлюдный, берег, чтобы первый успех подбающе обмыть, заест и переспать. А утром пиратская шняга, еще веселее и шумнее прежнего, двинулась промышлять дальше.

План Тизенгаузена был прост: накопив пиратский опыт в относительно безопасных пресных водах, вырваться на оперативный морской простор, а там у кого-нибудь спросить дорогу на Карибы. Напрасно папенька думал сына женить на дочери соседа. В мечтах Петр видел себя зятем губернатора Тортуги, не меньше.

Вскоре на горизонте замаячило нечто большое и неповоротливое, отдаленно напоминающее транспорт с хреном. Оглашая берега эпитетами, «Чайка» начала маневр сближения. Канонир Оглоедов зарядил пушчонку сушеным горохом – на первый выстрел, для остротки.

Намеченная на abordаж жертва оказалась вблизи именно что транспорт с хреном.

– Вы чего?! – заорали оттуда сверху вниз. – Мать вашу!

Но крючья уже, хрустя, впивались в борт. Абordaжная команда Волобуева, размахивая топорами, бросилась на приступ.

Капитан Тизенгаузен грозно ступил на палубу транспорта.

– Сарынь – на кичку! – крикнул он и стрельнул из пистолета в воздух.

За что немедленно получил вымбовкой по голове и упал.

– Ё! – рявкнул канонир Оглоедов.

Пираты дружно присели, жажнула пушчонка, и заряд гороха пришелся точно по мордасам вражеской команде, столпившейся вокруг мачты.

Транспорт сдался на милость победителя.

– До чего же мы, русские, несговорчивый и упёртый народ, – сокрушался Тизенгаузен, держась обеими руками за голову. – Я же вам крикнул, обормотам, сарынь – на кичку. А вы?

– Да мы тут все, в общем, не графья, – хмуро сказал капитан. – Чистая сарынь. А ты-то кто, мать твою, истопник хренов?

– Вот и вправду пуцу на дно твое корыто – будешь знать, какой я истопник, – пригрозил Петр. – Капитан Тизенгаузен! Пиратская шняга «Чайка»! Слыхал? Ничего, еще услышишь. Деньги на бочку! А то картечью пальнем!

Денег набралось чуть более пятиалтынного. Зато хрена баржа везла, как метко заметил дед Шугай, очень много.

– Никто не хочет вступить в мою команду? – спросил Петр. – Ну и плывите отсюда... С хреном! И всем расскажите, что вас взял на abordаж капитан Тизенгаузен!

– Ага, – скучно ответили ему.

* * *

Когда баржа превратилась в пятнышко на горизонте, экипаж «Чайки» выпил по чарке, а Тизенгаузену перевязали голову его же шейным платком, к капитану подошел Волобуев.

– Слышьте, барчук, – сказал он. – Вы бы это... Не мое, конечно, дело, но лучше вам не хвалиться своей фамилией направо и налево. Вдруг поймают? Нас-то пороли, порют и будут пороть, дело привычное. А вам может показаться стыдно. Да и шкурка у вас, извините за выражение, не такая дубленая.

– Как стоишь перед капитаном?! – взвился Петр.

– Виноват, – громила вздохнул и ушел на корму.

– Я знаю, что делаю! – бросил Петр ему в спину.

Волобуев спиной изобразил недоверие, но больше ничего не сказал.

Команда, против ожидания, не роптала. Экипаж водушевила легкость победы, редкая меткость канонира вселяла надежду на новые успехи. А хрен... Все равно редьки не слаще. Да и награбленная мелочь была хоть мелочь, однако живые деньги.

На следующий день «Чайка» атаковала еще баржу, которую тянули против ветра бечевой. Наученный горьким опытом, Петр приказал открыть огонь загодя. Оглоедов виртуозно накрыл горохом бурлаков, затем вlepил гвоздями по палубной надстройке – строго говоря, шалашу.

– Будешь у меня на фрегате главным канониром, – пообещал Петр.

Команда баржи трусливо покинула судно и убежала по берегу, как метко заметил дед Шугай, очень далеко.

На барже оказались мало того, что всякая мануфактура и провиант, так еще пара ружей с припасом и водки полведра.

Тизенгаузен закусил губу. Приз был что надо, но увести его за собой означало потерять скорость.

– Жалко, не фрегат у нас, – расстроился Оглоедов. – Сейчас бы все забрали.

Стоявший рядом дед Шугай метко заметил, что фрегату в Волге-матушке было бы тесно.

– Петли амбарные за борт, – приказал Тизенгаузен. – Грузите ткань. Ох, сколько же ее! Кто хочет, может намотать себе бархатные онучи. Хм... А не поставить ли нам алые паруса?

Дед Шугай метко заметил, что хотя тряпья красного полно, но команда устанет шить.

– Ты прав, мужественный старик! – согласился Тизенгаузен. – Что бы мы без тебя делали?

Дед Шугай объяснил, что.

* * *

Утром пиратская шняга подошла к убогому селению Малые Концы. Капитан послал Волобуева с людьми на разведку.

– Ну, ты расспроси там, – туманно объяснил он Волобуеву.

Люди ушли и пропали. Канонир Оглоедов скучал у пушчонки, дед Шугай травил морские байки, Тизенгаузен разглядывал берег в подзорную трубу.

– Сходите за ними кто-нибудь, – распорядился он.

И остатки команды затерялись среди покосившихся домишек.

Через некоторое время с берега донеслась унылая пиратская песня:

По-над Волгой, да над Волгой,
Да над Волгой, Волгой-ой!
Раздается по-над Волгой
То ли песня, то ли вой!
Этот вой зовется песней
По-над Волгой, Волгой-ой,
Потому что, хоть ты тресни,
А помру я молодой!

– Перепились, сволочи, – понял Тизенгаузен.

– А то из пушчонки жхнуть? – с надеждой спросил Оглоедов, сглатывая слюну. Глаза у него едва не слезились, вероятно, от сострадания к поющим. – Глядишь, прибегут. Или лучше прикажите, я за ними сметаюсь?

– Всем оставаться на борту! Стрелять не будем, припаса жалко. Подождем еще.

Команда вернулась на борт только утром. Вид у пиратов был виноватый, дышали они в сторону.

Дед Шугай за неимением боцманской дудки обошелся словами. Команда послушно изобразила подобие строя во фрунт. Канонир Оглоедов, справедливо полагая, что его это все не касается, остался у пушчонки, недобро щуря левый глаз.

– Зачинщики – шаг вперед! – приказал Тизенгаузен. – Перепорю негодяев!

Пираты дружно, как один, шагнули.

Капитан Тизенгаузен впервые в жизни опустил до непечатных выражений. Как после метко заметил дед Шугай, капитану еще было, чему учиться, но для начала выступил он неплохо.

– ...А тебя, паразита, – сказал в заключение капитан, тыча пальцем в грудь огромному рыжему Волобуеву, – я с этого дня назначаю старшим помощником!

– За что, барин?! – взмолился Волобуев.

– А вот будешь моей правой рукой. И за каждое прегрешение этих оборотов мохнорылых схлопочешь горячих!

– Может, не надо? – попросил Волобуев. – Вон же, боцман есть...

Тизенгаузен покосился на деда.

Дед Шугай сказал, что он уже стар для всего этого, а Волобуев в самый раз.

* * *

С новообретенным старпомом шняга понеслась выискивать добычу, как укушенная. Казалось, она летела быстрее ветра. Может, у Волобуева и не было таланта моряка, зато он умел убеждать.

– Что там было-то хоть, в деревне? – спросил Тизенгаузен у боцмана.

Из объяснения деда Шугая следовало, что в деревне нашлась бражка, и ничего больше интересного.

– И как пиратствовать с такой командой, а? – Петр вздохнул.

Дед Шугай сказал, как.

Через пару часов впереди показалась такая же шняга, идущая галсами навстречу. Петр схватил подозрную трубу. Команда приободрилась. Но Тизенгаузен увидел что-то такое, отчего сел под мачтой и загрустил.

– Отставить, – сказал он. – Разойдемся.

Встречное судно приближалось. Вот уже стало видно, как над ним вьется дымок самовара.

– Эй! – раздалось над Волгой-матушкой.

Тизенгаузен вобрал голову в плечи.

– Да это же Петя! Тизенгаузен! Петюнчик! Эй, на барже! Лом не проплывал?! Ха-ха-ха-ха-ха!!!

Пираты заскрипели зубами. Капитан молчал.

– Петюнчик! Ты ли это? Спускай паруса! Давай к нам чай пить! Ой, глядите! Да у него флаг пиратский! Эй, Петюня! Дружище! Гроза морей! Ха-ха-ха!!!

Тизенгаузен сидел красный, как вареный рак.

– Капитан! – прошептал канонир Оглоедов. – А то жажнуть?

Петр молча показал ему кулак.

Шняги сходились под свист и улюлюканье с одной и гробовое молчание с другой.

– Адмиралу Тизенгаузену – ура! – надрывались на встречном судне.

А вот этого не надо было. Потому что Петр переменялся в лице, вскочил на ноги, прошел к рулевому, отодвинул его и взял управление.

– К повороту, – сухо приказал он. – Слушай меня. Абордажа не будет. Оглоедов! Бей картечью по парусам. Бери выше, если кого там зацепишь – не пощажу.

Пиратский экипаж, до этого переносивший унижение stoически, теперь с горящими глазами бросился по местам. «Чайка» пошла на сближение.

– Давай, Оглоедов, – сказал Петр. – Покажи им. Пали!

Жах! У пушчонки засуетились, заряжая. Жах! На встречной шняге поднялась суматоха, там махали руками, истошно орали, кто-то сиганул за борт.

Паруса у встречного были уже как решето, а Тизенгаузен целил острым носом «Чайки» ему под корму.

– К повороту!

В последний момент «Чайка» легла на бок. Хрясь! Мелькнули белые лица, раззявленные рты, вздетые кулаки – и промелькнули.

– Пусть теперь походят по матушке по Волге, без руля-то, да без ветрил, – сказал Тизенгаузен. – Чего молчим, пиратские морды?

– Ура капитану Тизенгаузену!!! – раздалось над великой русской рекой. – Ура! Ура! Ура!

Петр Тизенгаузен стоял на корме, твердой рукой направляя «Чайку» к великим свершениям. Над коротко стриженной головой капитана развевался пиратский флаг.

* * *

Водный приступ к богатому торговому селу Большие Концы стерегла крепостица. Это ветхое сооружение, возведенное, сказывали, аж при царе Горохе, было в новейшие времена оснащено российским штандартом и пушечной батареей при инвалидном расчете. Сейчас штандарт грустно висел книзу, пушки убедительно торчали из бойниц, инвалиды безалаберно покуривали на крепостной стене.

«Чайка» заблаговременно спустила пиратский флаг, прикидываясь гражданской посудинной. Тизенгаузен рассчитывал сбыть в Больших Концах награбленную мануфактуру, пополнить запас провианта да разузнать новости.

Не тут-то было. Едва шняга приблизилась к крепостице на выстрел, одна из четырех пушек окуталась дымом, шарахнула, и по курсу «Чайки» поднялся водяной столб.

– Ну-у, началось... – бросил Петр, стараясь не подавать виду, что на душе заскребли кошки.

Он послунил палец и высоко поднял его над головой. Ветер дул еле-еле, впору было сажать команду на весла.

– Проскочим? Или не проскочим? – подумал вслух Петр.

– На таком ходу не проскочим, – уверенно сказал канонир Оглоедов. – Там в наводчиках Федор Кривой. Ему, заразе, целиться самое милое дело: лишний глаз не мешает. Сейчас еще далековато, а чуть ближе подползем – утопит нас с одного залпа.

– Откуда знаешь? – удивился Петр.

– Так Федор мой учитель, – гордо сообщил Оглоедов. – Я на этой самой батарее служил малость, пока в острог не загремел.

– За что посадили-то?

– За страсть к пальбе, – скупно объяснил Оглоедов.

– Понятно, – сказал Тизенгаузен. – Эй, старпом! Ложимся пока в дрейф, а там видно будет.

– Боцман! – рявкнул Волобуев. – Ложимся пока в дрейф, а там видно будет!

Дед Шугай метко заметил, что кричат людям прямо на ухо только глухие и тупые.

От крепости отвалил ялик и неспешно погреб к «Чайке».

Тизенгаузен, заложив руки за пояс, стоял под мачтой и размышлял, не поднять ли снова пиратский флаг, раз уж такое дело, но не мог решиться. Теплилась еще надежда, что им отсигналили по ошибке. А может, вышло предписание каждое судно так встречать в Больших Концах – ради предотвращения.

Ялик подвалил к борту. В лодчонке оказался красномордый прапорщик, неопрятный и пахнувший сивухой.

– Который здесь будет капитан Тузигадин? – спросил он. – Примите от коменданта пакет, ваше благородие.

Петр сделал каменное лицо и взял письмо так лениво, будто пакеты от комендантов приходили к нему каждый Божий день.

– Подождите ответа, милейший, – буркнул он.

– Дык, – прапорщик кивнул. – Ага, и ты здесь, Оглоедина, морда разбойная? Дома не сидится, в истопники подался?

– А дома-то что хорошего? – мирно отвечал Оглоедов. – Баба постылая, работа каторжная, да семеро по лавкам.

– Узнаешь теперь работу каторжную, – пообещал ему прапорщик.

Петр развернул письмо.

«Милостивый государь Петр Петрович! – писал комендант. – Поскольку велено мне губернатором бесчинства на Волге-матушке прекратить, и самого вас, сыскав, представить, осмелюсь рекомендовать следующее. Сдавайтесь-ка вы, голубчик, подобра-поздорову, пока дело не зашло слишком далеко. Нынче еще можно ваше предприятие обрисовать, как неумную проказу, и выставить вас перед губернской властью, простите всемилостивейше, молодым романтическим идиотом. Смею надеяться, отделаетесь порицанием и вернетесь домой вскорости. Проявите благоразумие! То же и папенька ваш советует, от коего передаю сердечный привет и полное прощение».

Тизенгаузен сложил письмо вдвое, потом вчетверо. Снова развернул. Перечитал. Опять сложил. Окинул взглядом своих людей. Команда ждала, что скажет ей капитан, затаив дыхание. В глазах флибустьеров горели собачья преданность и русская надежда на авось.

Даже «молодой романтический идиот» сообразил бы, что станет с экипажем, вздумай «Чайка» сдаться. Пока Петр с комендантом будут гонять чай, пиратов закут в кандалы и ушлют куда Макар телят не гонял. Ибо что положено Тизенгаузенам, то не положено Оглоедовым.

А ведь Петр обещал им Кюрасао.

– Флаг поднять... – хрипло выдавил Тизенгаузен.

Его не расслышали, команда заволновалась.

Петр откашлялся.

– Флаг поднять! – звонко скомандовал он. – Эй, прапорщик! Живо на борт. Ты мой пленный.

Прапорщик оттолкнулся было веслом, но красномордого выцепили багром за шкурку и с хохотом втянули наверх.

– Это вам даром не пройдет, – сказал прапорщик, лежа на палубе. – Нет такого закона, чтобы государева человека за шиворот таскать.

– Принайтуите государева человека где-нибудь на самой корме, а то от него воняет, – распорядился Петр. – Боцман! Всем по чарке за почин сражения.

– Ура капитану Тизенгаузену! – взревела команда.

На мачте взвился черный флаг. Под ним «Чайка» сразу как бы приосанилась, заново ощутив себя не мирной речной шнягой, но отчаянным пиратским кораблем.

Крепость снова окуталась дымом и шарахнула аж во все четыре ствола. Комендант давал понять, что принимает вызов.

Петр ждал водяных столбов, но их не было.

– Берегут ядра, – объяснил канонир Оглоедов. – А вот продвинемся корпусов на десять – накроют нас.

– Боцман! – позвал Тизенгаузен. – Непорядок на борту! Всем по чарке – значит, и капитану тоже!

Водка была теплая и отдавала купоросом. Петр запустил руку в бочонок с квашеной капустой, нагреб посвежее, принялся жевать. Ничего умного в голову не шло. Проскочить мимо батареи в темноте при таком безветрии можно было и не думать – ночи стояли, как назло,

самые лунные. Болтаться в виду Больших Концов, ожидая свежака, тоже представлялось глупым. На пристани за крепостью уже толпились любопытствующие. Петр раскрыл подзорную трубу. Так и есть – народ тыкал в «Чайку» пальцами, обидно смеясь. С крепостной стены инвалиды делали неприличные жесты. Того и гляди задницу покажут, сраму не оберешься.

«Что бы сделал на моем месте пиратский капитан? – размышлял Петр. – Интересно, а кто тогда я? Пиратский капитан. Ну, и как бы ты поступил, капитан Тизенгаузен? Наверное взял бы противника на испуг. А ведь это мысль!».

– Давай на весла, пиратские морды, сдадим назад чуток.

Под язвительный хохот, доносящийся с пристани, «Чайка» отошла от крепости, приблизилась к берегу и отдала якорь.

– Волобуев! Сажай в ялик людей сколько поместится. И ружья возьмите!

Лодчонка ходко почесала к прибрежным кустам и скрылась в них. Назад греб один Волобуев. Но Тизенгаузен в трубу видел: люди никуда не делись, лежат вповалку на дне ялика. А вот из крепости разглядеть это было нельзя.

Ялик сновал туда-сюда, притворяясь, будто высаживает десант. Выглядело это однозначно: пираты, сообразив, что миновать крепость водой не смогут, решили приступить к ней с суши. Угроза была вполне значимой. Сколько пиратов на шняге, комендант точно знать не мог, но грузоподъемности суденышка как раз хватало для команды, способной душевно начистить рыла инвалидам с батареи. Вся надежда крепости в случае приступа была только на пушки.

Сделав вид, что высадил две дюжины буканьеров, Тизенгаузен прибрал ялик к корме и стал выжидать. Смеркалось. Наконец комендант не выдержал. Длинное рыло одного из орудий втянулось за стену. Потом другое, третье... В крепости шла ожесточенная работа: инвалиды, обливаясь потом, перетаскивали батарею, готовясь отражать атаку с берега.

Над Волгой-матушкой стояло вечернее безмолвие, в котором издали слышна была многоголосая ругань и извечное русское «Э-эй-ухнем! Эй, зеленая, сама пойдет!»

– Как же, пойдет она сама... – канонир Оглоедов только хмыкнул. – Пупок развяжется, тогда с места сдвинется.

– Мы – когда?... – коротко спросил его Тизенгаузен.

– Рано, капитан. Сейчас они четвертую оттащат и замертво упадут. Я скажу, скажу.

Ветер стих окончательно. Команда вся сидела на веслах, даже вонючего прапорщика к делу приспособили. И ялик спереди запрягли.

– Теперь время! – прошипел Оглоедов.

– Команда, слушай! – шепотом крикнул Тизенгаузен. – И-и-раз!

«Чайка» легко тронулась, набирая ход.

До самой крепости дошли безопасно, потом шнягу заметили – над стеной раздался матерный визг, хлопнул ружейный выстрел.

– На-кося, выкуси! – заорал Волобуев. – И-и-раз! Навались, православные!

– Ё!!! – отозвались православные.

Инвалиды даже не пробовали вернуть пушки на место – ясно было, что не успеют. «Чайку» обстреляли из ружей, одна пуля засела в борту, другая расщепила весло.

– А то ответим, капитан? – с надеждой спросил Оглоедов.

– Было бы на кого припас тратить! – заявил Тизенгаузен надменно. – Впрочем... Пальни разок, чтоб знали. Только не вздумай по флагштоку. Там штандарт с гербом российским.

– Знамо дело, – заверил Оглоедов. – Мы же русские пираты, чай не басурмане какие.

Пушчонка хажнула картечью по крепостной стене, выбив из нее облако пыли. Под громовое «Ура капитану Тизенгаузену!» шняга уходила вдаль по Волге-матушке.

* * *

Наконец крепость осталась позади. «Чайка», облаянная собаками и ночным сторожем пристани, благополучно миновала Большие Концы. Выпили по чарке. Настроение на борту царило безмятежно-возвышенное. До флибустьеров дошло, что они ненароком совершили правдивый подвиг, и обязаны этим своему капитану.

– А с государевым человеком что делать? – спросил Волобуев, предъявляя капитану прапорщика, взопревшего от весельной работы.

– За борт, – небрежно бросил Петр. – Заодно и помоемся.

Государеву человеку, дабы не утоп случаем, вручили бочонок из-под квашеной капусты.

– Раздайся, грязь – дерьмо плывет! – скомандовал канонир Оглоедов.

Прапорщика метнули за борт так рьяно, что он верных полпути до берега летел по воздуху. Бултыхнуло.

– Это вам даром не пройдет! – донеслось издали. – Нет такого закона, чтобы государева человека в воду кидать...

Дед Шугай сказал, какой зато есть закон.

– Ну, ты полегче, старина... – ласково попросил Петр. – Ох, да что это с тобой?

В лунном свете все казались бледными, но лицо деда было блее, чем хорошо накрахмаленное исподнее. Петр пригляделся и увидел, что плечо Шугая криво перевязано набухшей тряпичей.

– Ерунда, ваше благородие, – сказал боцман. – Пульку словил из крепости. Бывало и хуже. Заживет, как на собаке...

Тизенгаузен равно ужаснули ледяное спокойствие деда и внезапное исчезновение из его речи морских слов. Капитан смекнул: дело худо.

– К берегу! – потребовал он.

Дед Шугай удивленно посмотрел на капитана и вдруг упал.

На берегу Тизенгаузен приказал развести костер, вскипятить воды, порвать на бинты чистую рубаху, принести со шняги фонарь, острый нож и иголку с ниткой.

Приготовлениями руководил Волобуев.

– А это надо? – опасливо спросил он, глядя, как Тизенгаузен собственноручно правит нож на оселке. – Авось оклемается наш боцман. А гикнется, так на то и Божья воля, значит.

– Не бойсь, – заверил Петр. – Я же дворянин, если ты забыл.

– Как можно! – Волобуев даже обиделся.

– Любого дворянина с детства учат воевать, – объяснил Тизенгаузен. – А заодно и штопать дырки, которые случаются в людях от войны. Лекарь я, конечно, неумелый, но пулю извлечь, промыть рану и зашить ее – смогу. Иначе вспыхнет в ране антонов огонь, и если придется руку отрезать, считай, еще повезло. Нужен тебе однорукий боцман?

– Капитан дело говорит, – подтвердил канонир Оглоедов. – Петр Петрович, ваше благородие, сколько водки в деда заливать?

Тизенгаузен бросил короткий взгляд на Шугая, который что-то невнятное бормотал в бреду.

– Сколько влезет, – сказал Петр.

* * *

Пиратская шняга пряталась в камышах целый день, с нее для большей скрытности даже сняли мачту. Команда стирала бельешко, чинила одежонку да рыбачила, стараясь особо не

высовываться. Трех самых неприметных Тизенгаузен послал берегом в Большие Концы – продать на рынке шелка, прикупить водки и чего-нибудь вкусенького.

– Вернетесь пьяными – оставлю на берегу, – сказал капитан. – Не вернетесь – тем более.

Волобуев тоже очень хотел сбежать в село, но он был рыжий и высокий, такой сразу бросится в глаза. Оглоедов со вздохом сказал: «Меня там слишком хорошо помнят, нюхнули они моего порошу...» – и даже не попросился. Впрочем, обоих Тизенгаузен не отпустил бы. Из рыжего детины буквально на глазах вырастал отличный старпом, а уж с канониром «Чайке» слишком повезло, чтобы им хоть как-то рисковать.

Дед Шугай тихо похрапывал и улыбался во сне. Лицо его налилось здоровым румянцем, то ли от водки, то ли вообще.

Посланцы вернулись мало что трезвые, так еще и удачно поторговавшиеся. Разузнали новостей: комендант рвет и мечет, затеял пороть своих инвалидов, а народ радуется.

– Чему радуется-то? – не понял Тизенгаузен. – Пираты нос властям утерли, тут сердиться надо бы. Ну, народ... Ну, страна...

– Это в вас немецкая кровь бунтует, ваше благородие, – подсказал Волобуев. – Порядку ей хочется.

– Да сколько ее, той крови, осьмушка разве, – Петр безнадежно махнул рукой. – Русский я – и по пачпорту, и по физиономии. А все одно в толк не возьму, отчего на моей родине, куда ни плюнь, такой перекосяк.

Дед Шугай сказал, отчего. Голос его звучал еще слабо, но вполне убедительно.

– Ура! – воскликнул Петр. – Боцман с нами! Налейте-ка мне по такому случаю.

Водка была теплая и отдавала олифой. Тизенгаузен привычно пошарил рукой, но бочки с квашеной капустой рядом не нашлось.

– Ну? – спросил он неопределенно.

– Готовы к отплытию, – доложил Волобуев. – Идем на Куросаву!

– На Кюрасао, – поправил Петр. – А ведь придется вам, братцы, учить нерусские языки. Там по-нашему не говорят.

– Не умеют? – удивился Волобуев. – Научим.

– Всех не научишь. Карибское море, – сказал Петр, – это тебе не Волга-матушка.

– Нешто нерусь такая тупая? – удивился Волобуев.

Дед Шугай метко заметил, что тупые всюду есть.

С тем и отвалили.

* * *

Некоторое время плыли без происшествий. Горизонт был пуст, еще пустыней выглядел берег. Оглоедов начищал свою пушчонку, Волобуев следил за порядком, дед Шугай, временно освобожденный от боцманских обязанностей, выздоравливал. Сыграли забавы ради боевую тревогу, после наловили рыбки, сварили прямо на борту вкуснейшей ущицы.

– Ну, живем, – сказал Тизенгаузен, поглаживая сытый живот. – Будто не пираты, а обыватели какие, самовара не хватает с баранками.

– Гармошку бы еще, – поддакнул Оглоедов.

И затянул веселую пиратскую песню:

Как по матушке по Волге,
Да по Волге-Волге, ё!
Проплывает да по Волге
Вот такое ё-моё!
Проплывает вот такое,

Да по Волге-Волге, ё!
Совершенно никакое,
Честно слово, не моё!

– А самовар у этих отнимем, – добавил Оглоедов, всматриваясь из-под ладони в речную даль. – Может и гармошка у них тоже найдется.

Петр схватился за подозрную трубу, глянул вперед и похолодел.

Встречным курсом шла черная, как смоль, пушечная барка. Паруса у нее тоже были черные, и длинный черный вымпел развевался по ветру.

Тизенгаузен ждал чего угодно, только не этого. «Чайка» едва начинала флибустьерскую карьеру, а тут ей навстречу попались всамделишные истопники, русские речные пираты, те самые, что «...и за борт ее бросает в надлежащую волну». Петр думал, они остались только в былинах и рыбацких песнях, извели их на Волге-матушке, ан нет.

– Это мне кажется, или у них кто-то болтается на рее? – неуверенно пробормотал Тизенгаузен себе под нос.

– Дозволь обозреть, капитан, – раздалось сзади.

Петр обернулся. На него выжидающе смотрел дед Шугай. Тизенгаузен отдал трубу боцману. Тот неловко принял ее одной рукой.

– На плечо мне клади, – разрешил капитан.

– Благодарствую, – сказал боцман, и от этой вежливости сердце Тизенгаузена натурально ушло в пятки.

Дед едва глянул на барку и чуть не выронил трубу.

– Holy shit! – пробормотал боцман.

Тизенгаузен почувствовал, что ему становится дурно.

– Там правда удушенник висит на рее? – спросил он несмело.

– Там всегда кто-то висит, – тихо ответил боцман.

И добавил – кто, да за какое место.

Барка дала предупредительный выстрел из носовой пушки. В воду плюхнулось ядро и засакало по невысокой волне.

Петр поднял руку, давая команде понять, что раньше времени суетиться не надо.

– На прямых курсах шняга не оторвется от этой черной дуры, – сказал он негромко. – Но у нас лучше маневр. Можем славно покрутиться вокруг да попортить барке обшивку. Конечно, рано или поздно накроют бортовым залпом... Что посоветуешь, старина?

Дед Шугай посоветовал.

– А если серьезно?

Дед Шугай метко заметил, что положение серьезнее некуда. И совет его вполне к месту. Ну, можно еще выброситься на берег и ломануться врассыпную по кустам.

– Я свой корабль не брошу, – отрезал Тизенгаузен. – Не для того мы отправились в путь.

Он повернулся к Волобуеву и отдал приказ спустить паруса.

Барка надвигалась на шнягу, как черная смерть. «Чайка» ошетилилась ружьями и топорами. Оглоедов колдовал у пушчонки. Тизенгаузен нацепил шпагу, проверил и заткнул за кушак пистолеты.

– Молитесь, кто умеет! – посоветовал он команде и сам зашептал «Отче наш».

– Эх, отче наш! – вторя капитану, рявкнул Волобуев. – Иже еси на небеси! Дальше забыл, короче говоря, аминь и кранты. Веселее, братцы! Не позволит Никола-угодник, верховный спасатель на водах, чтобы нас – да за просто так! Всем по чарке – и к бою! За капитана Тизенгаузена, пиратские морды!

– Ё!!! – проорали пиратские морды. – Аминь!

Барка тем временем тоже убирала паруса, ход ее замедлился. Палубные надстройки отливали смолю, пушечные стволы – медью, матросы бегали по вантам, повешенный на рее вяло болтал ногами. Над «Чайкой» навис высокий черный борт, сверху, как приглашение, упали швартовые концы и веревочный трап.

– В гости зовут, – Оглоедов недобро прищурился. – Ну-ну...

– Швартовы принять, – скомандовал Тизенгаузен. – Сидеть тихо, ждать меня, Волобуев за старшего. Если не вернусь... Тогда тем более Волобуев за старшего. Не поминайте лихом.

И полез по трапу.

Через несколько ступенек он почувствовал, что за ним кто-то увязался. Тизенгаузен раздраженно посмотрел вниз. Там карабкался дед Шугай.

– Я пригожусь, капитан, – сказал дед.

Петр недовольно поджал губы и полез дальше.

Вахтенные ухватили его, помогли встать на палубу. Тизенгаузен отряхнул камзол, поправил шпагу, заложил руки за спину. Все это он проделал для того, чтобы как можно позднее встретиться взглядом с капитаном барки, сидевшим под мачтой на перевернутой бочке. А когда Петр набрался храбрости поднять глаза, капитан уже глядел мимо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.